

илл Кобрин

История

Work in Progress

Spuma

Orbītas bibliotēka



Кирилл Кобрин
История. Work in Progress

1. Частник из *bloodlands*

Дело происходит в году 1954-м, или даже 1955-м, но не в пятьдесят шестом, ибо в пятьдесят шестом повествователь уже старше, его друзья и подруги старше, они выходят на демонстрации в Будапеште, и одного из них убивают советские. Не повествователя; он доведет рассказ до конца семидесятых, охватив, таким образом, почти сто лет, от конца XIX века с его немецкими курортами, сложным устройством дамской одежды, офицерами, которые рассуждают о грядущей войне, и со всей параферналей вейнингеровского «Пола и характера». Да, а закончит повествование повествователь уже в гэдээровском Берлине, в артистической среде, там и Стена, и прогрессивные театры, и приехавшие посмотреть на соцжизнь пришельцы из-за Стены, и тайный постыдный грех однополой любви. Или нет, гомосексуализма? Ну не использовать же слово «гей», которое имеет довольно четкую нижнюю хронологическую границу. Мы же не можем сказать, что Оскар Уайльд был гей. Или Сергей Параджанов. Или еще кто-то вроде них. Нет. Там другие дела.

В общем, это ГДР серого периода своего расцветоупадка, я на днях читал и редактировал отличную статью про недавний немецкий роман об одном восточноевропейском энтузиасте мороженого и морозильных

установок. Он какой-то прогрессивный инженер был, придумал специальные морозильные камеры, а также рецепт вкуснейшего эскимо (сегодня рекламщики называли бы его «революционным»), но система подкорректировала его порывы – вместо суперморозильников просто морозильники, с каждым годом все хуже и скучнее, мороженое его не удалось, так как мороженщицы не выдерживали ГОСТов (или как там они у Хонеккера назывались), потом Стена рухнула, отец умер (или сначала отец умер, а потом рухнула Стена, но здесь это неважно), и вот он, отец, лежит как живой, помолодевший в морозильной камере, подобное сошлось с подобным, а дочь его рецепт мороженого пытается уже в новых условиях реализовать, то есть продать, или даже сделать бизнес, но тоже ничего не выходит. *Sic transit ice utopia mundi*. Я описываю все это исключительно на основании статьи, романа не читал и вряд ли прочту когда-нибудь. Там, в статье, кстати, упоминается сцена, уже после объединения Германий, где какая-то тетка засовывает эскимо в вагину, а куча немецких ротозеев возбуждается. Дальше происходит что-то непристойное, но автор статьи не вдается в подробности.

В общем, наш повествователь – мы возвращаемся тут к венгру, что еще совсем юным чуть не погиб во время печальных событий 1956 года, – заканчивает повествование в гэдээре гомосексуальным романом с одним

немцем, судя по всему, театральным критиком, по имени Мельхиор. Если справиться с гуглом, то помимо уже известного, что Мельхиором звали одного из волхвов с дарами, мы узнаем, что, согласно западноевропейской традиции, этот конкретный волхв обычно изображается бледнолицым европейцем средних лет. Немец Мельхиор нашего венгра был несомненно европейцем, но уж точно не средних лет. Да, чуть не забыл, он тоже повествователь, как и его любовник. На самом деле, все про фин де съекль, про немецкие курорты, про сецессионное самоубийство отца, про романы со слугами и про секс с невестой подозрительно кафкобиографического происхождения – все это вспоминает Мельхиор, а записал венгр. Или даже записал кто-то еще, но вплел это в повествование венгра. Получилась такая Австро-Венгрия литературная, точнее – Венгро-Неметчина. Но об этом мы позже, как любил писать Роберт Вальзер. Вернемся к нашему венгру. Одновременно с мельхиоровым романом у него развивается иной роман, чувственный, нет, чувствительный, но бестелесный, в никаких петтингов и пенетраций, с одной известной актрисой по имени Тея. Если справиться известно где, то мы узнаем, что это и лунная богиня, и дочь Геи, и мать Гелиоса и Селены. Но я не уверен, что все это имеет какое-то значение, кроме чисто сецессионного, орнаментального. Потому как, по-настоящему, речь ведь идет о довольно

потертом гэдээровском мире, не то чтобы совсем советском в советском смысле, нет, здесь все культурнее и Европа, опять же, не варвары. Вот так нащупывается первая историческая тема, которую стоит обсудить. Европейский социализм и коммунизм. Что это было?

Но сначала про венгра и немцев. С Мельхиором венгр живет на мансарде богемным образом, и драма тянется долго, муторно и неопределенно, как и положено в Центральной и западной части Восточной Европы. Герои находятся в несколько нервном тактильном контакте, за сексом следует молчание или разговор, они читают, слушают музыку и пьют вино. И каждый думает свое. Все кончается тем, что заезжий француз, тот самый, доброжелательно заглянувший из-за железного занавеса на предмет жизни в местах социальной справедливости, устраивает побег Мельхиора. Венгр ретируется обратно в Венгрию. С Теей венгр катается на ее скверной машине и обсуждает всякое. Чувственная неопределенность, в силу понятных причин – хотя каких понятных? – наш венгр би, а не гомо, он вообще инкарнированный в не самую лучшую эпоху не самых веселых земель Гермафродит, – не могущая разрешиться никак, уже так сгустилась в салоне автомобиля, что топор можно вешать, ну или намазывать эту неопределенность на тост, вроде густого жирного смальца, и кушать на мрачный восточноевропейский

завтрак. Милости просим в *bloodlands*. Но об этом мы как-нибудь позже.

Венгр уезжает в Венгрию, Тея остается без него и без Мельхиора, которого хочет – да и, кажется, может, – но о ней уже молчок, так как мы не знаем, что происходит в Берлине после отбытия нашего повествователя, одного из трех-двух. Даже если предположить, что венгр инкорпорирует реминисценции немца в свой нарратив, то налицо, нет, не шизофрения, а дуальность, каковой Австро-Венгрия была воплощением. Я не зря вспомнил Каканию, она здесь очень важна – если мы говорим об этом регионе, о Центральной и западной части Восточной Европы. Всегда два элемента. Австрийцы и венгры. Немцы и славяне. Евреи и христиане. Всегда би, всегда Гермафродит. Прочтем *bloodlands* как кровосмешение. Оно ведь не только в детском лежании нашего венгра в постели с матерью или в сидении в одной ванне с матерью и отцом, не забудем также сцену, где мальчуган играет с отцовым членом. Кровосмешение в ином смысле, когда много крови пустили у многих людей, то она, лиясь, смешивается – в потоки, лужи, в озера и моря крови. Вот и здесь, в венгро-немецком повествовании, сливается кровь самая разная, покончившего с собой отца и юного брэдобрэя, тех, кто уже потом погиб в Первую мировую, во Вторую мировую, кого замучали в послевоенных лагерях, застрелили или намотали на

советские гусеницы в 1956-м, наконец, самогó нашего венгра, в конце концов, какие-то хулиганы переехали мотоциклом на пляже. Все кровь. Она мешается.

Но отметим также, что историю про смерть на пляже рассказывает уже совсем другой венгр, Кристиан, про которого наш венгр, тот, первый, перед тем рассказывал. Будучи отроком, он даже вождеделл Кристиана в каком-то смысле. Там довольно запутанный сюжет – с мальчиками, девочками, венгерским диктатором Ракоши и смертью Сталина. Что в этом сюжете особенно хорошо, это то, что физический конец Гуталина есть лишь отдаленный универсальный фактор, спусковой крючок локальной венгерской, центрально-европейской драмы. Она даже не раскручивается из этой точки, наоборот – школьное построение в связи с кончиной далекого усатого тирана, обмен взглядами, дальнейшее развитие нескольких полулюбовных – назовем их «эротическими» в старом античном духе – линий, и даже странная тинейджерская оргия по ходу дела, все это могло начаться с торжественной школьной линейки по совсем другому поводу, смерти Франца-Иосифа или юбилея Петефи, неважно. Отметим – мы же пишем историческое сочинение! – важную черту центрально-восточноевропейского коммунизма и социализма, черт с ним, даже сталинизма. Он всегда на периферии, а события Большой Истории где-то далеко,

то ли в Москве, то ли в Париже, неважно. Любопытно, что удаленность эта не чисто географическая. Скажем, Берлин, Восточный и Западный. В тот самый момент, когда вязкая гермафродо-драма венгра, Мельхиора и Теи разыгрывается в потертом, как бы даже никакком Восточном Берлине, по ту сторону Стены, всего в километре от автомобиля, внутри которого неспешно сплетаются печальные истории обитателей *bloodlands*, Боуи записывает песню «*Heroes*», а его сожитель Игги – «*Lust for Life*» и «*Passenger*». Большой Мир, Большая История далеко от Венгро-Немецчины, Австро-Венгрии, Иудео-Христианиии ментально, не физически.

Так вот, тот самый Кристиан, поначалу сильный, гордый, окруженный свитой пацанья, а потом поскученевший, попошлевший, гетероустаканившийся – он завершает описание. От него мы узнаём, как венгр номер один закончил свои дни, под Будапештом, на пляже, пазолиниевским способом. Это даже не печально, так как все вокруг печально, и печали этой ни избежать, ни преувеличить невозможно. Она как интонация разговоров венгра первого с Теей в машине, что тут нового скажешь. Сплошное кровосмешение.

И вот здесь возникает самый главный – пока – вопрос. О соотношении в этих краях коллективного/кровосмесительного и индивидуального. И о составе последнего. С первым более понятно, да и мы потом

обратимся еще к этой проблеме (см. Роберт Вальзер). Во-вторых, стоит сказать, о чем вообще идет речь. Речь о романе Петера Надаша «Книга воспоминаний». Роман огромный и (кто бы спорил?) великий, но его вязкость и непомерность в голову еще огромное. Больших книг в мире немало, но, как это ни странно, многие из них – особенно романы – предельно ясны. Зачем написаны, для кого написаны, что происходит. «Улисс», к примеру. Но есть и другие, как раз совсем непонятные ни по интенции, ни по тому, что они есть на самом деле, но такие работают с иной материей, с материей мышления, сознания. Как Пруст. Или как «Человек без свойств». Интересно, что они – как и более простые вещи Томаса Манна – написаны примерно в одно время. «Книга воспоминаний» хочет стать жестом не меньшим, произвести смену схем думания неслабую, но роман этот, как сказали бы критики, совершенно антиинтеллектуален. Надаш не про мышление. Он про тело и его реакции, которые становятся эмоциями, не переходя на иной уровень. В каком-то смысле его герои – настоящие животные, но животные грустные и даже несчастные. Отсюда их отличие от собак и попугаев, ибо те не умеют по-настоящему грустить. Или умеют? Черт его знает. В каком-то смысле «Книга воспоминаний» – долгое, печальное, страстное описание региона, где все чувствуют, но никто не думает на самом деле. То есть

думает, конечно, но исключительно в качестве реакции на происходящее с ним. То есть реакции на то, что кто-то где-то (в Москве или Западном Берлине, неважно) сделал так, что с ним, реагирующим, что-то происходит. И вот на такое происходящее герои Надаша реагируют, в том числе и мыслительно. Мысли их реактивны и движутся по кругу несчастья и грусти. Чтобы совсем не впасть в мерихлюндию и не покончить с собой (на что венгры, как известно, большие мастера), все со всеми обмениваются спермой, потом и кровью. Сплошное смешение, не только повествований в романе, не только исторических эпох в нем. Как это работает, я вот только говорил – где-то там сдох Сталин, а у нас многозначительные взгляды, потные подмышки, разбушевавшиеся подростки, доносики, разговорчики в сортире. Над всем этим тяжело реет грустный Эрос, не принимавший ванну уже дня три.

Но надо вернуться к соотношению коллективного/кровосмесительного и индивидуального. Без этого нам ничего не понять. К примеру, про центрально-восточноевропейский коммунизм после войны, а – и я в этом убежден сильнее, чем в чем-либо еще, – без этого нам ничего не понять об истории. Меж тем как мое рассуждение об истории и только о ней. Больше меня – двойного перемещенца с восточной окраины Европы на ее западную окраину, довольно грустного начетчика

пятидесяти одного года от роду – сейчас не интересует ничего, по совести. Только история.

С историей сейчас происходит такое. Все на ней помешаны, издаются книги, пишутся статьи, снимаются фильмы и прочее. Президенты клянутся в верности прошлому. Писаки призывают у него учиться. Кафедры истории – я имею в виду «чистую историю», а не «социальную антропологию» или там «гендерные исследования средневекового общества», – закрываются быстрее, чем греческие банки времен левой коалиции. Толком истории не знает уже никто, в смысле фактов, последовательности событий, но не это главное. Конечно, дату всегда можно посмотреть в «Вики», не проблема, но вот уже с последовательностью беда. Это как ездить по городу только на метро и годами ходить в определенное место, на работу или домой, от станции. Невозможно понять, как устроен город, какой квартал за каким идет, как они соединяются, что он вообще такое – и, соответственно, зачем существует. В истории без последовательности никуда – иначе смысла нет запоминать год Констанцкого церковного собора или сражения у Балаклавы. В сущности, оно же было и сплыло, ничего на сегодня не оставив на поверхности жизни, кроме названия головного убора да странного памятника на старой площади в Праге. Да разве что кто-то помнит слово «гуситы», предполагая, что так называли специальных

средневековых воинов, ходивших в атаку гуськом. Кроме шуток – последовательность событий важна исключительно; дело не в политико-идеологической и эвристической ценности «сквозного исторического нарратива», дело в том, что по бокам хронологической линии раскинулась жизнь, как по краям дороги. Если нет дороги, то Уилтшир не отличишь от Корнуолла, а Бургундия смешается с Нормандией. Чтобы сравнивать, нужно передвигаться между объектами потенциального сравнения. Передвигаться можно только по дороге, иначе все внимание уйдет на кочки и ямки под ногами. Кочки и ямки – дело хорошее и важное, но они о другом. Они про то, что все едино. Дорога про то, что все разное. История начинается с искусства различения. Это событие непохоже на то событие. Этот правитель непохож на того. Если и есть у истории какой моральный урок, так он в том, что все разное – и мы, изучающие вышеперечисленное на предмет различения, тоже совсем другие. Если совсем с пафосом, то описав других в другие времена, выяснив их непохожесть, мы очерчиваем границу вокруг себя. Романтические дураки называли это «делать историю». История – про границы.

Оттого самое интересное про историю происходит на ее границах, там, где сама идея границы, различения ослаблена, размыта, не шибко популярна. Тут мы возвращаемся к Центральной Европе и западной

части Восточной. Чего-чего, а вот границ здесь всегда было с избытком – и почти все ненастоящие. Вечером одного прекрасного дня добропорядочный горожанин усыпает подданным польского короля, а назавтра просыпается уже субъектом прусского. Был австро-венгр – стал чехословак. И все такое. Сплошное смешение – подданств, гражданств, идентичностей, кровей. Опять *bloodlands*. Хорошо французу: он говорит и пишет на французском. Ест (пусть региональную, но все же) французскую еду, ходит во французскую школу, даже молится (если ему придет в голову такая блажь) чаще всего в специальной французской (галльской) католической церкви. Он обнесен границами. Он самодоволен. Он рационально может перечислить признаки себя как француза. За его спиной – три века Разума. А в интересующем нас кровосмесительном регионе ничего окончательного нет, ничего особенно отдельного. Кафка, еврей, чей отец любил выдать себя за чешского националиста, писал на немецком, но на странном немецком, локальном, пражском. Родился подданным Австро-Венгрии, а умер гражданином Чехословакии, впрочем, в санатории под Веной. Последнюю из любимых девушек нашел под Берлином, куда она – дочь польского хасида – бежала от хаоса иудейского и задушевных славянских жидоде-ров. И попала она в лагерь – в хорошем смысле лагерь – еврейской молодежи. После смерти Кафки она выйдет

замуж за немецкого коммуниста, который бежит от Гитлера к Сталину и надолго застрянет в смрадном ГУЛАГе. Сама Дора – звали девушку Дорой Диамант – в последний момент с ребенком ускользнула и от Сталина, и от Гитлера, чтобы оказаться в лагере для интернированных на острове Мэн. Из лагеря ее в конце концов выпустили, и Дора поселилась в Лондоне, где работала в просветительском центре идишской культуры. После войны Дора успела посетить только что созданный Израиль. Умерла она рано, в 54 года, в Лондоне, там же и похоронена на еврейском кладбище Ист-Хэма. Но найти ее могилу невозможно – на ней нет имени.

Да, здесь игра, быстрые челночные ходки между коллективным и индивидуальным, которые не совпадают, но и не отделены намертво, как во Франции или в Британии, там, где есть границы и веками только и делали, что разграничивали. Разграничивали на всех уровнях – отдельного человека, общины, города, региона, церковного прихода, клуба по интересам, социального класса, государства, наконец. В Ц. и В. Европе получился человек-паук, который выделяет из себя нитку, ткет из нее паутину и сам же по этой паутине и ползает. Новоприбывшие же в З. Европу, если не обладают паучьим умением (а они часто не обладают, см. русские), то попадают в готовые чужие паутины живыми мухами, чтобы со временем стать мухами дохлыми. По-другому бывает

лишь с теми, кто оказывается здесь со сложившимся еще на родине готовым навыком выработать портативную паутину. Так вот, люди из Ц. и В. Европы и тут исключение. Они – мухи, производство паутины и паутина одновременно. Оттого из них получаются Аполлинер, Гензбур, И. Берлин, Эрнест Геллнер. Особо отличились румыны, конечно: Элиаде, Чоран, Тцара, Изидор Изу, Ионеско. Самые любопытные в З. Европе – беженцы из *bloodlands*. И их отпрыски в первом поколении, если, конечно, у таких людей бывают отпрыски. Я мало что знаю про Чорана, но с ужасом представляю его (несуществующих, надеюсь) детей.

В общем, чтобы понять историю как процесс различения, происходивший в прошлом, и историографию как процесс различения в нарративе о прошлом, следует почаще окунаться в потные эманации духа над плотью Ц. и В. Европы. И здесь уже без Надаша никуда – если мы хотим понять, как индивид смешивался здесь с коллективом и как они вместе стали телом. А если про индивида и коллектив, тогда главная тема – про девятнадцатый век с национализмом и про двадцатый с коммунизмом.

С. Ш. на днях прислал мне цитату из Надаша. Даже и не помню, где я ее читал раньше, может, и не читал, но она все равно знакома. Впрочем, если границы условны и проницаемы взаимно – ой, я бы сказал, проползаемы

взаимно под огнем с двух сторон! – то уже неважно, читал ли я это раньше или нет. В общем, Надаш пишет: «...[В 70–80-е годы] Венгрия ближе всех из стран восточного блока подошла к капиталистической экономике. Но не упорядоченной социальной рыночной экономике, регулирующей эксцессы капитализма с помощью законов и демократического разделения властей. По сути дела речь шла о хаотической экономике беззакония. О хозяйстве, пестующем скорее семейный, клановый и групповой эгоизм, признающем лишь тайные сделки, а из правовых механизмов знающем лишь крючкотворство... Оно консервирует квазипатриархальную ситуацию, общую для мышления мелких сельских хозяев, надменных слуг и [прежней] шляхты. Писатель Радомир Константинович однажды заметил, что Венгрия – воплощение “провинциального духа”. Этот дух хотя и не любит тиранию, но стремится скорее купить себе немножко безопасности за счет услужливости по отношению к ближайшему хозяину. Ему безразличны высшие цели, он чужд универсализму, в том числе и в своем отношении к церкви, он любит мир в привычных рамках семейных кланов и рождаемых ими связей. Он не понимает индивидуализма и презирает его. Он перемещается в города, даже в самые дорогие их кварталы, но не выносит урбанистического духа. Он вечно тоскует об исчезнувшей деревне, к которой сам же с презрением

повернулся задом, поспособствовав ее уничтожению. Ему нужно слабое государство, в котором можно спокойно реализовывать интересы своего клана... Он – враг каждого, кому в данный момент не служит, и друг любого, кто окажет услугу ему, но лишь по принципу “ты – мне, я – тебе”. В этом вопросе [в Венгрии] царит полное согласие – от неолибералов, отучившихся в американских университетах, до национал-консерваторов... Всем нужно слабое государство. Такое, которое служит исключительно им, их семьям, кланам и партиям – и их собственности... Партии провели приватизацию в рамках смертельно слабого государства, не способного к коррекции или контролю, провели ее в этом кланово-племенном, провинциальном духе. В ином случае это беспечное всеобщее воровство и произвол в ущерб общественному благу были бы невозможны». Это великое высказывание – по нескольким причинам. Вот хотя бы парочка из них.

Да, я ведь все это знал/знаю, даже без Надаша. Нет, не сформулировал, но был к этому близок. Двенадцать лет прожил в Праге, как-никак. Это не только про Венгрию, конечно. Это про все *bloodlands*, включая страну, столицей которой пребывает Прага. В Чехии не было и нет дворянства. Аристократию изгнали дважды – в 1918-м и 1946-м – а в остальном все то же самое. Культ слабого государства, но надувают этатистские щеки, бубня при

этом про свою несчастливую, но немаловажную историю. Немаловажную по-разному, у одних сабли, ментики и вальсы, под струнные которых упыри реакции расстреливают ребельянецев, у других – пивечко под кнедличек с гуляшиком да тихая подрывная работа, лишающая смысла Вселенское Гестапо. Кто такой, спросим мы, Гиммлер против Швейка? Даже как-то жалко старика Генриха. Да, и все же немаловажную, ибо выжили – и сейчас можно себе позволить. То есть победили, несмотря на все неприятности и потери по ходу дела. Но, на самом деле, Надаш прав – никакого универсализма, только ползучая и пахучая прагматика, ксенофобия по-мелкому, без больших идей, даже и без больших (уж особенно больших) денег, главное – семья, клан, торжество мелкобуржуазной стихии, как сказал бы Маркс. Или Ленин, неважно – неохота лезть известно куда.

Но возникает вопрос. Кто является носителем всего вышеперечисленного? Точнее, кто его единица, историческая единица? Если это не индивидуализм западноевропейского типа и не коллективизм восточного (назовем это так, без затей, хотя тут надо разбираться), ну не семья же и не клан. Надаш ведь про чувство семьи, про клановое чувство. Иначе был бы условный Восток. Нет, тут надо вернуться к отдельной персоне, к единоличнику, если угодно, к хуторянину. К мелкому буржуа.

Аптекарь Омэ и диккенсовский стряпчий тоже мелкие буржуа, но они – функции их обществ. То есть сначала возникает система связей, выкованных из материала идеологического – отнесем сюда и атеистический галльский республиканизм, и протестантский коммунализм Англии позапрошлого века – а потом уже в паутине связей появляются разные людишки. В Средние века считали, что червяки заводятся в трупях сами собой, что разлагающаяся плоть порождает копошащиеся в ней ползучие существа; вот точно так же буржуазная идеология, нет, множественное число, вот точно так буржуазные идеологии порождают буржуазные системы, в которых самозарождаются мелкие буржуа. Они есть добросовестные носители соответствующих ценностей; более того – вынь эти ценности из них, они обмякнут, сникнут и рухнут в конце концов. Останется пустая оболочка в клетчатых штанах. С хуторскими и вообще с единоличниками из Ц. и В. Европы дело другое. Они сами себе и система, и идеология. Они готовы принять все что угодно, лишь бы остаться хозяйчиком, обывателем, частником. Вот, отличное слово распал – «частник». Частник не эманерирует идеологемы или ценности, он не считает себя частью их – как и вообще чего-то большего, даже государства. Он всегда на границе! Он не знает, чьим подданным проснется завтра! Какая уж тут лояльность, чистый прагматизм.

Его лавка, его хутор – крепость, но он же прагматик, оттого понимает, что с кирасирами, танками, бомбардировщиками и тайной полицией он не справится. Оттого крепость его крепости специальная; он готов ее сдать в любой момент, но именно «сдать» в другом значении этого русского слова, то есть «сдать как квартиру». Пусть националисты, фашисты, коммунисты, либералы поживут в ней, не очень-то жалко. Я довольствуюсь чуланом. Пока, конечно. Потом-то они съедут, точнее – их потом вынесут вперед ногами, *bloodlands* же, стопроцентно друг другу глотки перегрызут. А я, кряхтя и ахая, манатки их переберу, ценное оставлю, неценное выкину или сдам старьевщику.

Помню, когда я переехал жить в Прагу, меня удивляло количество магазинов с восхитительным названием «старожитности», *starožitnosti*. В те годы в них копалось немало западных людей, по дешевке скупавших всяческий фарфор, чешское фабричное стекло 1920-х, иногда попадались редкие книги и даже рукописи. Говорят, какой-то западный антиквар выудил в старожитностях пару писем Кафки. Дело было так. Нужные люди ему сообщили, что там-то и там-то в замшелой лавке лежит неопознанным такое. Сообщение пришло в пятницу вечером. Наш любитель древностей собрался в дорогу и стоял у искомой старожитности в понедельник, за полчаса до ее открытия. Опередил конкурентов, которые

оказались слегка нерасторопнее, приехав чуть позже, кто в полдень того же понедельника, а кто и к вечеру. Впрочем, быть может, это легенда. Но старожитностей в Праге и других чешских городах навалом – и несмотря на все усилия арт-жучков, перекупщиков, антикваров, коллекционеров и проч., старое барахло не иссякает. Я часто думаю: откуда же оно берется в *bloodlands*? Положим, перебили десятки миллионов людей, а вещички их остались. Потом началась новая жизнь с новыми вещами – и старые не шибко нужны. Плюс, в отличие от новых, старые вещи делались на славу, на века. Люди оказались не на века, а вот то, что они производили своими руками, и то, чем пользовались, о да. До сих пор пылятся в старожитностях. Все так, но потрясает, нет, даже ужасает количество этих вещей. Все они продукты героических времен капитализма, со второй половины XIX века по, примерно, тридцатые годы XX-го. Вот так и узнаёшь, что же такое капитализм на самом деле – это когда делают ужасно много вещей. Так много, что они заполнили целый регион. Ничего подобного в Британии, к примеру, просто нет, хотя уж там-то вещей делали гораздо больше. И, конечно, ничего такого восточнее Брест-Литовска, и уж тем более восточнее Смоленска – тут в большом городе олдového барахла разве что на одну захудалую старожитность наскребешь. Здесь все по-другому было. Народу истребили не меньше, чем

в классическом ареале *bloodlands*, но здесь это никого не волнует. Умер-шмумер. Вещички тоже с людьми куда-то проваливаются. Думаю, где-то там, под землей, то ли в Мордовии, то ли в Челябинске, все они и поселились – убитые в этой стране, плюс их вещи. Там им лучше, чем на поверхности земли, где про них и не помнит толком никто.

Да, так частник. Его крепость, она же замок, всегда на замке, но только пространственно ее/его нет. Ради интереса назовем этот феномен «ментальным редутом». Частник вынужден перемещаться по жизни и таскать свой переносной ментальный редут с собой. Чуть что – и он готов выгрузить его на конкретную уже почву и соорудить дом или там обустроить квартирку и проч. Но это не навсегда, ведь *bloodlands* вокруг, к тому же сегодня эта почва принадлежит какому-нибудь румынскому королю в плюмажах и эполетах, прости Господи, а завтра – советскому мордвороту с наганом в кожаной кобуре. Так что смена жанра у местных в крови, это точно – но не смена себя как частника. Частник остается частником везде – даже если он руководит компартией. И тут назад – и, одновременно, вперед – к местному варианту коммунизма. Это и вправду странный коммунизм, коммунизм частников, но оттого он не менее отвратен, чем коммунизм совков. Лиходейничали те и другие ребята с одинаковым энтузиазмом,

просто у вторых были возможности побольше. Но для нас тут важно понять разницу – а она огромная. Коммунизм восточно- и центральноевропейских частных вынужденный, так вышло. И предшествующий ему фашизм – там, конечно, где он был, – то же самое. С ними все это произошло, они не сами. Карты выпали. Где-то там, далеко, в Москве издох Гуталин, а мы тут реагируем – как у Надаша про отроков и отроковиц. Частник оказывается в сделанной кем-то истории – опять-таки лучше множественное число, в сделанных кем-то историях! – и соответственно себя ведет, чтобы не тронули. Не в смысле физически не тронули – частник бывает отважен, он не трус, он *в своем праве* – нет, ведет себя соответствующе, чтобы сохранить себя как частника, как местную действующую единицу в принципе. Если отстранить все про жопу, пиво и гуляш, то Швейк про это как раз. Ему же все равно, двуглавый орел, полумесяц, свастика или звезда – он даже послужить может всем перечисленным геральдическим символам, и даже потерпеть на службе, и даже погибнуть, но важна Идея Швейка, неуязвимость существа, которое само по себе, которое не цепляет больших идей – и большие идеи его не цепляют. Ну вот как грабловского героя из «Я обслуживал английского короля». О чем он? О том, как частник живет в истории, заметим, в чужой истории.

А мог бы пойти, к примеру, по партийной линии, как Янош Черманек. Родился во Фиуме, тогда Австро-Венгрия, потом Югославия; самое смешное, что при записи в книгу учета жизни и смерти подданных Франца-Иосифа его записали под итальянским именем – Джованни Черманек. Красиво. А тридцать примерно лет спустя советский генерал Пупышев из мрачной организации со смешным названием ГУПП (о, удачная рифма судьбы: «Пуп и ГУПП», «Пупышев и ГУППышев») назвал Джованни по-сталински «Я. Кадр». Мол, он кадр! – а кадры решают все. И наш герой нарешал, но уже под именем не Джованни Черманек, а Янош Кадар. Не хорват незаконнорожденный, а венгр. Для этого, конечно, пришлось сдать друзей и товарищей в 1948-м, и их повесили, потом соратников и всю страну – в 1956-м (и Надя расстреляли). Впрочем, сам тоже пострадал, даже посидел в начале пятидесятых во Владимирском центральном. Но выжил. И, в конце концов, редут свой воздвиг не где-нибудь, а в штаб-квартире Венгерской социалистической рабочей партии. И оттуда руководил страной, той самой и в то самое время, когда Петер Надаш ходил в Вечерний университет марксизма-ленинизма и работал в женском журнале. Ходил, работал и в свободное время сочинял «Книгу воспоминаний». Вот так наш Черманек сидел-сидел в своем кабинете, старел-старел, маялся язвой желудка, устраивал

специальный венгерский социализм (см. вышеприведенную цитату из вольнослушателя Вечернего университета марксизма-ленинизма), а тут в Москве, там, где Владимирский централ, где обитал генерал Пуп и его контора ГУПП, где помер Сталин, что повлекло за собой многое, включая конец местного сталинчаника по фамилии Ракоши, так вот, там вдруг странный Горбачев начал перестройку и все кончилось. Черманека отодвинули, Кадара потихоньку полуотстранили, наш Кадр уже не решал все. Сам он сделался дряхл, нетверд умом, а также памятью, да и совесть подгрызала – и за Ласло Райка, и за Имре Надя. И вот вдруг, как тень отца известно кого, 19 апреля 1989 года он является на заседание ЦК, восходит на трибуну и принимается бредить. Бред этот забываем, он есть одно из главных модернистских произведений прошлого века, не хуже чем длиниииииииииииииинная реплика Молли Блум. Молли завершает монолог знаменитым «Да», Кадар – чуть менее знаменитым «Спасибо большое».

О. Я. перевела эту речь для публикации. Да. Сильнейшее эстетическое потрясение последних месяцев. Не знаю, кто, кроме Беккета, мог написать такое – но только кроме такого Беккета, которого произвели бы на свет во Фиуме и в детстве звали бы, к примеру, Цезаре, а потом – Гонзиком. В последней речи нашего кадра все смешалось – угрызения совести, попытка объясниться,

жалобы на здоровье, обида на членов ЦК помоложе, что отобрали у него власть. И на предсмертный бред Паниковского тоже похоже, только без еврейско-киевской разновидности сумасшествия. Ну вот, к примеру: «У меня не то, что было у жены. А что это за память? И что за срыв? А те, кто был на свободной платформе, те срывались, потому что они уже вооруженную борьбу вели между собой – те, что на свободной платформе были. И тогда мне врач говорит, что я уже в свободной форме выступать не могу. Не способен на ответственное выступление, когда я начинаю говорить, потому как даже он не может гарантировать, до каких пор меня можно называть здоровым. Вот и мускулы сошли. Врач не рекомендует. Я с ним откровенно говорил, ведь когда выносят медицинское заключение, там может быть только врач. Он не рекомендует, и я заявляю, на свой страх и риск, даже если я ошибаюсь, все равно сделаю это, потому как я уже человек очень старый, и у меня столько болячек, что мне уже все равно, пусть хоть пристрелят. Простите меня». Не простить невозможно – да и прощальникам править оставалось несколько месяцев, какое им дело? Тут помимо чисто психологической, психической стороны дела интересно другое. Кто это говорит? Партийный функционер? Нет, слишком много как бы личного. Идеолог? Отнюдь. Вообще ни слова про идеологию во всей речи – разве

что кусочек про то, что Горбачев доведет социализм до цугундера. Рабочий? Крестьянин? Интеллигент? Нет, нет и нет. Обыватель, лавочник, частник. Вкрапление про «свободную платформу» – это из Большого Мира истории, но оно тут утоплено в истории болезни. Важно персональное, физическое, реагирующее на боль политическими воспоминаниями. Жалобы портного.

И получается, что роман Надаша так и написан. То есть не так написан, а как бы про это. Нет, точнее – не про это, а он и есть это. Речь Черманека, ставшего Кадаром, ставшего Кадром, вернувшегося перед смертью в состояние Черманека. «Состояние Черманека» – бормотание частника, которого чужая история, ставшая своей, заставила быть и тем и этим, но черманек-то там был всегда, он никуда не исчезал. Он и бредит. «Черманек» есть иное название ментального редута частника. Пока к несвященной жертве его не требует то одна Родина, то другая, то та партия, то эта, он и есть Черманек, но чуть что, первый же шухер, и он уже Кадар, кадр, который решает все. Решения эти локальные, и они есть ответ на внешние раздражители – с востока и с запада.

Я иногда думаю, а в какой старожитности лежат вещи супругов Кадар? Что там? Настольные часы? Пресс-папье? Тарелочки с пейзажиком на днице?

В «Книге воспоминаний» есть довольна проходная – на фоне тинейджеровских оргий, изучения отцовского

члена и печальных разговоров в машине – сцена. Даже банальная, если вспомнить, сколько лагерной прозы сочинено в прошлом веке – и фикшн, и нонфикшн. Там почти везде есть такое: семейство мирно готовится к обеду или ужину, сытные домашние запахи настраивают на самый благодушный лад, вдруг звонок в дверь, открывают. На пороге исхудавший небритый человек в великоватом пальто и с фибровым чемоданом. Вернулся. Дальше два варианта. Вернулся к своим, которые уже ждать отчаялись. Или явился к тому, кто предал и посадил. Соответственно варианту дальнейшее действие развивается.

У Надаша – напомним, дело происходит в году 1954-м, или даже 1955-м – оба варианта перемешаны, ведь кровосмешение, как мы говорили, *bloodlands*. Несчастный приходит к тем, кто и свои, и предатели разом. Соответственно, драматизм следует возвести в квадрат. Так оно и есть, но ментальный редут не дремлет – и задействует все линии обороны. Итак, приходит Янош, друг и соратник отца, которого любила мать рассказчика номер один, того самого, что пересказывает немецкие истории Мельхиора, того, что сидит с Теей в автомобиле, того, что вождедает Кристиана, который, в свою очередь, потом доскажет историю, завершившуюся гибелью под мотоциклом на пляже, и говорит, что отец нашего рассказчика мерзавец и его посадил. Отец довольно

безнадежно возражает. Мать дрожит – она вообще скоро умрет. Отрок тоже дрожит, потом и вовсе станет неясно, а вдруг этот Янош и есть его отец? Кстати говоря, в силу этого дрожания и этой загадки начинаешь догадываться, зачем мальчик столь пристально интересовался отцовским детородным органом. Он, на самом деле, инстинктивно как бы прикидывал, откуда ли он (точнее, прото-он) попал в лоно матери, или нет? Это как во взрослом возрасте разглядывать собственную детскую одежду, что-то в этом духе. Мол, неужто я отсюда вырос? Но вернемся к сцене. Да, мать в слезах. Отрок дрожит и подслушивает. Отец (официальный отец) возражает, но безо всякой надежды на успех. Та ситуация, когда все уже заранее знают, что произошло на самом деле. И разыгрывают ее исключительно потому, что *так надо*. Это «так надо» исключительно важная характеристика «частника». Нет, это не элемент сословного ритуала, вроде крестьянского или аристократического – и не национального тоже. Здесь – одна из линий обороны редута. Идеология и прочая чепуха тут не играют никакой роли. Заметим, мораль тоже – я имею в виду мораль общепризнанную, нормативную, даже религиозную. При этом здесь нет и того, что некоторые нервные люди в середине прошлого века называли «экзистенциализмом», то есть нет здесь голой экзистенции. Никакого даже абсурда в духе Камю. Немного похоже на сцену

в немом кино, но звуки присутствуют, конечно. Короткие реплики участников разговора прерываются отцовским воплем, но это не вопль трагедии, даже не драмы, это крик в оперетте, пусть и зловещей. Вообще надо сказать, что оперетта – лучший и любимый жанр частника, плюс кабаре, конечно. Не взаправду, но жутковато; развлекает, но дает выход страстям, психике, нервам. Это очень нервные жанры, опасные, вот-вот провалишься из мелодрамы в драму, из оперетты в оперу, из кабаре в пропаганду. Всё на краю, всё на границе. Не забудем, частник – он весь реакционен, он реагирует, а не создает поводы для реакции, он живет психологией, страстями. А страсти, если они не зиждутся на каком-нибудь античном пьедестале, так и остаются на кабаретных подмостках. Не зря кабаре расцветает в Веймарской Германии. Так вот, по законам жанра, когда страсти накалены и выхода им уже нет никакого – не собираются же они все перекусить друг другу глотку? тогда это какой-то сюрреализм получится – на сцене появляется ничего не подозревающий добродушно-комичный персонаж и предлагает всем срочно перекусить. Нет, не глотку, а в смысле закусить. Поесть. Это уже потом понимаешь, что персонаж появился совсем не зря и что его добродушие умнее всякого остроумия графов и кокоток, да, но вот пока это выглядит так: «Бабушка, покрасневшись от жара плиты, появилась из кухни с тем выражением

застенчивого торжества и тревожного ожидания, которое появляется на лице хозяйки, когда приготовление пищи ничуть не в тягость, когда это не обременительная ежедневная рутина, а торжественная церемония, включающая в себя сотни движений, чистку и нарезку овощей, приподнимание крышек, снятие пробы, подхватывание кастрюль с огня, ошпаривание, промывку, помешивание и процеживание, церемония, получающая истинный, прекрасный и праздничный смысл от того, что где-то в дальней комнате сидит в ожидании ужина обожаемый гость, и вот уже все готово и можно всех звать к столу, вот только придется ли все по вкусу? видно было, что она явилась не прямо из кухни, а юркнула перед этим в ванную комнату, поправила там прическу, слегка припудрила щеки и напмадила губы, возможно, сменила халат, чтобы избавиться от кухонных запахов, и теперь на ней был серебристо-серый вельветовый капот, который так подходил к ее серебристо-седым волосам, и она, чтобы не столкнуться со мной, на мгновение обняла меня, и я почувствовал запах ее духов, две капельки которых она, по обыкновению, только что растерла за ушами.

Я не думаю, что она не расслышала последние фразы, и даже если, поглощенная своей миссией, не поняла их смысла, все же тотчас почувствовала, по их интонации и по самому открывшемуся ей зрелищу, по тому, как все трое, в отдалении друг от друга, стояли, застыв

на месте во власти своих эмоций, не могла не почувствовать роковое напряжение в комнате, но ее это все-таки не смутило, она отстранила меня решительным, но негрубым движением и поспешно, в своих тапочках на каблучках, с торжественным видом, ступила в комнату и, словно слепая, глухая или неисправимо глупая, объявила во всеулышание: дети, прошу к столу!

Моя бабушка, разумеется, все поняла, только она, с ее рафинированностью и изысканностью, с ее жесткой прямой спиной, с ее пуританской, не признающей шуток серьезностью, с шелковистыми усиками под носом и резко очерченными суховатыми чертами лица, которые на сей раз, явно от вызванного присутствием Яноша и хлопотами по кухне волнения, все же делали ее красивой, женственной, была ископаемым образцом буржуазного модус вивенди; она просто вошла и в силу своей ограниченности не посчиталась с событиями и проявлениями человеческих чувств...»

Ну вот. Вроде бы тут Пруст, так как явная смесь бабушки Марсея и Франсуазы, так сказать, хозяйка и служанка в одном восточноцентральноевропейском лице. Но это не так. Надаш лишь делает вид, что накладывает галльский корсет жесткого социального порядка и тончайших классовых ритуалов на пышное, немного уже целлюлитное тело Ц. и В. Европы. У Пруста бабушка – или даже Франсуаза – вмешалась бы, чтобы

вернуть вышедшую из-под контроля ситуацию в строгие рамки устоявшегося, незыблемого порядка вещей. Принято в это время обедать – все, марш за стол! Здесь другое. Изобильный обед сделан специально – к приходу гостя. Это немного истерическая реакция на непонятную ситуацию, которую нужно не ликвидировать, а обесмыслить – как реальные любовные страдания героев австро-венгерских оперетт обесмысливаются водевильными куплетами и канканом. Или как Швейк обесмысливает все вокруг себя – войну, смерть и все такое. Главная линия обороны «ментального редута» – линия обесмысливания, которая устроена так. Есть сильный раздражитель, что-то такое происходит в Большом Море, что нам грозит бедой, смертью, катастрофой. Частник не будет стоять насмерть против такой беды. Он ее пригласит к себе, предложит снять пальто, подставит стул, начнет разговор и даже накормит обедом. То есть он как бы одомашнит то, что дома иметь по определению не может. Он включит Событие Большого Мира в привычный домашний круг своей психологии, он подберет нужные реакции – пусть даже это Событие физически погубит его. Все равно он победил. Как бабушка у Надаша: «вошла и словно бы перечеркнула все, что происходило здесь, словно бы своими снисходительными манерами, в которых не было ничего аристократического, ибо она не смотрела на вещи свысока,

а как бы надменно обходила их, словно желая сказать, что на вещи, которые нам неподвластны, лучше вовсе не обращать внимания или уж, во всяком случае, не выказывать, что мы все видим и понимаем, и созданной тем самым иллюзией как бы способствовать неудержимому развитию событий, лавировать, выжидать, не вмешиваться, крепко подумать, прежде чем что-либо предпринять, ибо всякое действие было бы уже суждением, а с этим надо быть крайне осторожным! подобное поведение в детстве меня, разумеется, очень смущало, меня просто тошнило от его лживости, и прошло очень много времени, пока я на собственном горьком опыте не понял всей его мудрости, не почувствовал, не догадался, что кажущаяся фальшивой преднамеренная слепота и притворная глухота, возможно, требуют не меньшей гибкости и понимания, чем открытое проявление сочувствия и готовности помочь; возможно, для этого нужно больше эмпатии и гуманного опыта, чем для так называемой искренности и преследующего какие-то истины непосредственного вмешательства».

Здесь я вспомнил о фотографиях, которые увидел несколько лет тому в Праге в DOXe. Что там была за выставка, не помню, главное случилось потом. Я зашел в музейную лавку, где, как обычно в таких местах, продают малоосмысленные альбомы, затейливые открытки, аксессуары арт-индустрии, вроде дизайнерских чашечек,

кофеварочек, бижутерии и проч. Ну и, как обычно, шкаф с уцененной продукцией – там вот уже и альбомы поинтереснее, и печатная продукция, происхождение которой теряется в короткой выставочной истории этого места. Среди всего этого я нашел несколько открыток. На них – черно-белые фото, старые, каких-то процессий. Идут люди в белом и черном, что-то несут и везут, цветы, священники, ветки деревьев голые, под ногами слякоть, а то и грязный снег, не понять. В общем, не лето. На обороте можно прочесть, что это экспонаты выставки «*Sladkost smrti: Pohled do Archivu III – parte*». Фото сделаны в 1943 и 1945-м в чехословацком городке Гостомице. Я посмотрел на карте, в Чехии сейчас два таких топонима: один совсем уже небольшой населенный пункт недалеко от Бероуна под Прагой, другой – побольше, на севере, рядом с Теплице и Усти-над-Лабем. Думаю, на фото второй. Почему я так решил, не знаю. Просто в Бероуне я не бывал никогда, только проезжал на поезде, а вот в Теплице как-то провел полдня. Ничего так. В нем Гете встретил Бетховена, говорят, но тогда это был немецкий курорт Теплиц. Снимки сделал некий Здрагал – то ли это фамилия фотографа, то ли название ателье, сказать сложно.

На трех из четырех открыток – похороны. На первой впереди идет женщина в черном, в черной вуали. Дело происходит на улице городка, видны крепкие

ворота одноэтажного дома и часть самого этого дома. За женщиной, на некотором отдалении, следует группа из четырех человек, тоже в черном. Они идут шеренгой. Справа – двое немолодых мужчин с непокрытой головой, с опущенным долу взором. Рядом – старуха в черном платке, он немного сбился и видны седые волосы. Старуха рыдает, в правой руке у нее платок. Слева ее поддерживает один из мужчин с опущенной головой, справа – женщина помоложе, в руке сумка, на голове шляпа. За ними отдельно идет еще один мужчина с непокрытой головой, он страдальчески смотрит вбок от рыдающей женщины, чуть ли не в камеру. Вдоль улицы кучкуются местные жители, они не в траурно-парадной одежде, а кто в чем. В основном это женщины в слободских платочках.

Думаю, сцена эта расшифровывается довольно просто. Впереди идет вдова. Сзади – ее свекровь, мать покойного. Не исключено, что рядом с ней другие ее дети. Можно также поспекулировать насчет социального статуса всей семьи. Люди основательные, мужчины в неплохих пальто, рубашки с галстуком, вдова и вовсе идет на каблуках по не очень чистой улице. То есть те, кто хоронит, социально чуть повыше тех, кто на них глазеет.

Второе фото вполне могло бы изображать ту же процессию, только ее авангард. Впереди священник со

свечкой и служка. Оба в кружевных белых рубашках, наде-
тых на черные рясы, только на священнике поверх набро-
шена мантия, на руках – перчатки, на голове – высокая
торжественная шапка. За ними на почтительном рассто-
янии едет катафалк, которым управляет человек в пальто,
белой рубашке с галстуком и шляпе. На катафалке мно-
жество венков. Справа от экипажа идут пары. Вот это и
есть самое загадочное, и оно продолжится и усилится еще
на одном снимке. Но о нем чуть позже. А тут действи-
тельно пары – молодые люди и девушки. Девушки в белых,
чуть ли не подвенечных платьях, сверху на них накинута
то ли шубки, то ли пальто. Кавалеры их в длинных чер-
ных пальто. Все с непокрытыми головами. В руках у деву-
шек цветы. Ничего не понимаю в чешских погребальных
обрядках, но вот подвенечные платья на похоронах – это
что-то такое индийское. Или мексиканское.

Еще одно фото, датированное 1945 годом, уже
несомненные похороны, оно красивое, но довольно
банальное, так что лишь несколько слов: трое мальчи-
ков-служек, один из них закусил губу, чтобы сдержать
слезы, за ними два старых священника, за священни-
ками несут гроб, за гробом несут венки, по сторонам
стоят прилично одетые немолодые мужчины. На заднем
фоне – первый этаж барочного строения с черепичной
крышей. Не зря я 12 лет прожил в этой стране. Я узнал –
это типичный богемский провинциальный монастырь.

Последняя в серии открытка – самая странная, загадочная, жуткая. Она диким образом рифмуется с первым из описанных фото. Процессия, холодно, под ногами утоптанная дорожка, а дальше все белое, снег, что ли. Впереди идет молодая крупная женщина в длинном платье, на голове венчик, на венчике крепится длинная вуаль, которая прикрывает ее лицо. Женщина, кажется, похожа на ту, с первого фото. Все верно, но ужас в том, что на женщине с последнего фото все белое. Да, белое. Сверху вниз. Венчик. Вуаль. Платье (в отличие от первого фото, это платье длинное, то есть, по сути, свадебное, как у девушек на втором фото). Туфли. В руках большая белая то ли брошюра, то ли тетрадь. Или мне кажется – и это поднос? Сложно сказать. Есть что-то дьявольское в этом преображении черной вдовы в белую невесту. За ней, на некотором расстоянии, идет молодая пара. Она несет венок, который закрывает девушку, от которой на фото остался только подол белого платья, черные туфли и что-то белое на голове. Ее напарник в черном – пальто, брюках, пиджаке, без головного убора. Вроде бы все, как на предыдущих похоронных изображениях. Однако дело в том, что на рукаве у него белая повязка. А на шее, вместо черного галстука – легкомысленная, то ли музыкантская, то ли свадебная бабочка. За ними колонной идут другие пары в добротных пальто, у молодых людей – тоже белые

бабочки на шее и белые повязки на рукаве. Один из них довольно серьезно, даже сумрачно смотрит в объектив. Однако остальные, похоже, то ли едва сдерживают смех, то ли просто пребывают в уравновешенно-добродушном расположении духа. На заднем плане один из участников процессии, жизнелюбец с залысинами, уже откровенно ржет. В конце колонны слегка обрезанная краем фото девушка весело улыбается. Что это? Макабрическая свадебная процессия? Веселые похороны в новоорлеанском стиле? Как это соотносится с первым фото? Если первое серьезное – то почему второе пародийное? При том что можно точно сказать: первое не пародийное – имитировать горе, убивающее на снимке старуху, невозможно. Это вам не Станиславский с его системой. Можно предположить, что на последнем фото – действительно свадьба, а на первом – похороны того, за кого выходили замуж на последнем. Несколько смущает, что это, похоже, одно и то же время года одного и того же года, 1943-го. Соответственно, возникает два варианта. Первый. Некий молодой человек женился и тут же умер, через несколько дней. Второй. Молодой человек женился в, скажем, январе или феврале, а умер в ноябре, даже, скорее, декабре. В сущности, стоило бы покопаться в архивах и выяснить, что за погода стояла зимой, весной и поздней осенью 1943 года в городке Гостомице. Но не буду этого делать,

а обращаюсь к дальнейшим умозаключениям. Впрочем, кто знает, быть может, когда-нибудь.

Представим себе, что все это правда: они пожелились, а потом он умер, неважно, сразу или в конце того же года. Тогда следует поменять знак на второй открытке. Тогда там не катафалк, а свадебный экипаж, священник и служба мрачны просто так, быть может, просто болит живот или замерзли на холоде, траурный форейтор превращается в праздничного кучера, его мрачный костюм сразу становится просто торжественным, а загадка свадебных платьев на похоронах разрешается неожиданно просто – перед нами не похороны, а свадьба, так что уж с платьями-то все ОК! В таком случае перед нами две маленькие фотосери. Два снимка – свадебной процессии. Два – похоронной. При том что три из четырех фото касаются судьбы одной и той же пары. Забавно: процессия по поводу счастливого бракосочетания и процессия по поводу печального ухода из жизни минуют одно и то же место одной и той же улицы, которое можно узнать по кирпичным колоннам ворот, только похороны чуть-чуть забежали вперед. Воистину, круг жизни: свадьбы и похороны с участием тех же людей ходят по кругу в одном и том же городке. Но что поражает, так это то, что главного виновника всех этих торжественных процессий на снимках нет. Невеста и вдова есть. А его нет.

И здесь возникает вопрос – что же могло случиться с нашим отсутствующим героем? Как что? В 1943-м? Что угодно, конечно. Война.

Наконец мы добрались до иглы, что кроется в яйце, что спрятано в птичке, что летает в небе. Ну да, перед нами драма отдельно взятого человека, который женился и умер, драма, на первый взгляд, довольно банальная, но это только на первый. Мы в самом сердце *bloodlands*. Вокруг вооруженная по последнему слову современной тогда техники смерть косит один миллион людей за другим. Трупы никто не считает. Общими усилиями возвели гигантский конвейер, на ленте которого живые съезжают в небытие. Думаю, никогда за последние три сотни лет человеческая жизнь не стояла столь мало. Да что там мало. Просто ничего. Ноль. Даже отрицательная единица есть единица, хоть что-то. А тут просто ничего. В книге учета живых и мертвых могут пропустить за ничтожностью. Вокруг Гостомице вдруг отключили все силовые системы, все смысловые сети – религиозные, этические, философские, просто здравого смысла, все. Библия, Коран, Тора, Маркс, Ленин, Гегель – ничто не имеет никакого значения, если ты вдруг тут оказался. То есть о них в *bloodlands* вроде говорят, даже безусловно говорят, но это бобок какой-то живых мертвецов. Ну надо же что-то бормотать. И вот посреди Великого Обнуления Всего некий обыватель

из мелкого чешского городка дерзает жениться, да еще и с экипажем, белыми бантиками, цветами, а потом и имеет быть упокоенным таким же частным отдельным образом. Его венчают, отпевают, оплакивают просто как в старые добрые времена. Вокруг семья, клан, друзья, земляки. Не отдельный герой-индивидуалист, который героически следует ценностям со всеми вытекающими, нет, просто обычный человек. Частник.

Так вот: на этих трех фото (плюс четвертое, из 1945-го, действительно прекрасное, с закусившим губу мальчиком) изображен «ментальный редут» частника. И содержится намек на устройство редута, на подробности его фортификации. Р. Вальзер подсказывает мне, мол, потом, потом об этом подробно расскажешь, после проведешь анализ, пошли лучше погуляем. ОК, иду. Только пару слов. Мы в пучине страстей. Из этих снимков не вытащишь истории, уж тем паче Истории, они про то, как там, вокруг символического Гостомице (еще одно название для «ментального редута»), происходит страшное, большое и всеобщее. Универсальное. Это универсальное раз от раза задевает Гостомице – не исключено, что с рано ушедшим от нас виновником торжеств так и произошло. Его задело и раздавило. Но сам мир частника непобедим. Он воспроизводит себя в каждой отдельной точке, свободной от всеобщего. Он подстраивается под всеобщее, принимает самые разные формы, его изгибы повторяют

завихрения Большой Истории, но материя этих изгибов своя – и состоит она из вот этой смеси крови, спермы, пота, чувств, страстей, реакций. Наверное, тут стоило бы сказать, что, мол, это и есть жизнь, а все остальное не. И что совершенно неважно, в какой конкретный исторический период эта жизнь происходит, дает ли история шанс этой жизни пошире раскинуться, или же пытается направить ее в узкие трубы и желобки – ведь содержание жизни в *bloodlands* все время одно и то же. И она не поток, а лужа, слякоть. Надаш ведь об этом, недаром же «Книга воспоминаний». Р. Вальзер уже мягко дергает за рукав. Исчезая на время, брошу через плечо, из «Книги воспоминаний», в поддержку вышесказанному: «И время в подобных случаях пусть не божественным образом, но все-таки останавливается, и ноги отнюдь не ступают в тот самый несущийся дальше поток, а отчаянно месят на месте какую-то жуткую слякоть, увязают и месят ее, пытаясь остаться на поверхности жутко наскучивших повторений, что в конечном счете кажется нам единственным убедительным доказательством жизни, и так до тех пор, пока в этой борьбе наши ноги в буквальном смысле не втопчут нас в смерть». Наши ноги. Втопчут. Нас. В смерть. Жутко наскучивших повторений.

Впрочем, прости, Вальзер, еще пару минут. О них, о жутко наскучивших повторениях, и об этой, так сказать, «реальности» пишет Музиль применительно

к Ульриху. Помните? Ульрих поставил себе задачу «отменить реальность». Что бы это значило, кто бы знал. Вот одно из возможных объяснений. Если, как мы говорили уже, «Венгрия» (и «славянщина» тоже) в «Австро-Венгрии» – это страсти и это как бы жизнь, то рациональное, логическое и формальное – это «Австрия», Вена. Чем у Музиля заканчивается Акция, это последнее величественное здание Какании? Акция проваливается в пучину страстей, алчности, эротизма, национализма. Что есть запоздалый провал из Австрии высокого формализма и пудренных париков XVIII века в месиво, в почву и кровь XIX-го. Почва, кровь, страсти, жизнь – вот что губит Каканию, вот что пугает Ульриха, вот начинка реальности, которую следует отменить. Вопрос о характере этой реальности сложен. Скажем так: она чрезвычайно бюрократически-формализована, но разъедается страстями. Снаружи бездушная формальность, внутри вульгарное Бог знает что. Хотя, заметим, Ульрих сочувствует бюрократии. Но даже Ульрих не устоял. Во втором томе происходит не «отмена реальности», наоборот, падение Ульриха в мир чувств и эмоций, пусть и тщательно отделенных от вульгарных. Именно в этом смысле он *действительно совершает преступление*, не потому, что сквозь пальцы смотрит на подделку завещания отца, и даже не из-за платонического инцестуального союза с сестрой, нет, он *преступно преступает*

запретную линию, которую сам себе нарисовал. Черт, недосказал, убегаю. Р. Вальзер уже маячит впереди.

Идя по дороге, дыша влажным воздухом, вспоминаю, что я написал О. С. примерно полгода назад. По поводу Надаша, вестимо. Там как раз начало было про воздух – не физический, а культурный. Про атмосферу, дух времени.

«Дело даже не в Кафке и Вальзере – не забудь, эти двое в самом составе литературного воздуха, которым дышат центральноевропейские писатели. Большинство из них, впрочем, никогда больше страницы Вальзера не осилили – зато они осилили множество страниц тех, кто осилил целые книги Вальзера. Например, Кафка, весь ранний период которого вырос из несчастного швейцарского шизофреника, читал его очень внимательно. На каком-то уровне можно даже сказать, что и Кафку немногие, на самом деле, читали, но только вот он тоже вошел в состав письма более поздних авторов. Или Музиль; он исключительно высоко ценил Вальзера и использовал многие его главные приемы в «Человеке без свойств», который вроде бы на вальзеровскую прозу непохож. Но Вальзер в ней есть!

(...)

Но не это главное. Главное то, что «Книга воспоминаний», насколько я могу судить, еще не дочитав ее,

о двусоставности и двуприродности, о Гермафродите в самом широком, не только сексуальном, смысле. Она о «мужском *versus* женское», она о «модерне *versus* советское», она о «немецком *versus* венгерское (и восточноевропейское вообще)», наконец, она о теле *versus* ... нет-нет, не сознание (это один из самых немыслящих, даже а-мыслящих романов, которые я когда-либо читал), она о теле *versus* традиционное для культуры модерна (уже не «модерна» как *modernity* или *modernism*, а модерна как ар-нуво, как сецессион) представление о теле (от эстетического до копания в его недрах и сексуальности, как у Вейнингера, Фрейда и проч. Все они, на самом деле, считали сознание производным от телесного, просто прикидывались, что так не считают). Вот что исключительно важно. Мир, который «вспоминается» в этой «книге», есть мир одновременно и прошлого, и вечного настоящего, точнее — настоящего, которое является вечным прошлым. То есть настоящее воспринимается рассказчиком (-ками) как нечто, что обречено стать прошлым, оно мутновато, покрыто патиной и не имеет решительных примет современности. Оттого там нет и названий вещей, чтобы не дать читателю этих примет. «Машины» просто машины, без типов автомобиля, «вино» просто вино, без марок и названий, и так далее. Более того, роман буквально переполнен архаизирующими деталями, намеренными анахронизмами, вроде

топки дровами квартиры в гэдээровском Берлине 1970-х, или служанок в советской Венгрии, или даже того самого бутерброда со свиным смальцем (чуть ли не единственная пока мелкая оплошность переводчика, это не «жир», это либо «лярд», либо «смалец»), который поедает послевоенный венгерский мальчик (такой бутерброд родом из немецкой/центральноевропейской литературы рубежа XIX–XX веков). Примеров подобных полно. Надаш специально подбрасывает их, чтобы сбить с толку – и это у него получается. К примеру: если временных пластов два (два с половиной на самом деле: конец XIX века плюс период после Второй мировой, разбитый на части), то когда происходит сюжет с «невестой» и курортным походом под проливным дождем по дамбе в соседний город за сигаретами? Если это тот же самый герой, что вспоминает, как был с родителями на курорте перед Первой мировой, то, получается, действие происходит уже в межвоенный период? Если так, то откуда у его невесты все это утомительное обмундирование? Почему она в вуалетке (если мне не изменяет память)? Наконец, почему сливаются в одну две квартирные хозяйки в Берлине?

Ну да, получается, что «Книга воспоминаний» – книга воспоминаний о некоем порядке вещей, характерном для определенного региона (мы-то знаем какого!). Характер региона таков, что даже когда ты живешь сейчас, ты все равно видишь все как будто заранее, забежав

вперед, вспоминаешь, что же происходит нынче. Ничего нового в этом мире быть не может; отпевание Сталина, восстание 1956 года, кислые разговорчики о Берлинской стене – все это только часть обстановки, которая, по сути, не меняется. Меняются шевроны на форме полицейских и солдат, портреты императора меняются на портреты диктатора, но соотношение главных элементов конструкции неизменно. Это, если вспомнить старика Снайдера, *bloodlands*, но “кровь” здесь не только льется из раненых и убитых тел, она просто течет в телах живущих здесь людей. И только она заставляет их что-то там такое делать.

Отсюда ясно, почему все это типа как про секс. Ну или про любовь, но такую телесную. Потому что главное в этих землях — кровь. Ее толчки двигают участников здешней мрачноватой (заскорузлой немного, тяжковатой в то же время) жизни; ну а там, где кровь, там пот (играющий немаловажную роль в повествовании) и прочие телесные жидкости. Оттого и сами тела столь важны; собственно, роман вообще можно было бы назвать «Книга воспоминаний тел».

Античность там очень специальная. (...) Но эта античность родом из сецессиона и вообще из белль эпок. Не *true* античность, а античность, прочитанная сначала через салонную живопись второй половины позапрошлого века, а потом – через модерн, который с салоном вроде

бы сражался, но сам стал салоном впоследствии. Там, в романе, не античная красота, а бельэпоковская красота. И повествователи пытаются преодолеть эту эстетику буржуазной красоты, но не могут никак. Они все присматриваются к телам – чужим, своим, нарисованным – ища, за что зацепиться (ну это как повествователь, влюбившийся в некрасивую девочку; но на самом деле он же не тела ее желает или чего-то там еще нехорошего, он просто на нее смотрит, пытаясь распознать какую-то другую красоту – а оказывается, в конце концов, со вполне симпатичной ее подругой, понюхав по пути подмышки разудалой служанки). Фин де съекль, вот ключ к этому роману; ибо для автора это время и есть вечное, остановившееся, так и не закончившееся, несмотря на все ужасы и катастрофы последующих 60–70 лет. И здесь самое главное. Кровь и почва – изобретение и, разом, главная черта фин де съекля. Так что Ц. и В. Европа – такое вот пространственное воплощение предельно а-исторического (но помешанного на истории) способа мышления и соответствующего способа жизни, не больше, но и не меньше.

Надо ли говорить, что это время, самодостаточное, дуприродное, само себя трахающее, что оно инцестуально?»

То есть получается, что я сначала все это придумал и изложил вкратце в письме к О. С., а потом придумал

уже во второй раз, длиннее и мутнее – и изложил сейчас. А потом – гуляя с Р. Вальзером – вспомнил первый вариант и представил здесь. Как бы тоже по кругу. Значит ли это, что я увяз в этой жиже, черт возьми? Что в котомке у меня за плечами – ментальный редут? Нет. Нет. Нет. Просто мы разбирались с *bloodlands* и немного испачкались. Нас слегка засосало. Но, перефразируя натуралиста Стэплтона, мы знаем несколько твердых кочек, по которым ловкий человек может выбраться из этой трясины. Из пучины страстей. На твердую дорогу истории.

2. Жизнь (и смерть) в Кулдиге

«Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом.»

Даниил Хармс

Пятнадцатого июля две тысячи шестнадцатого года в столовой при супермаркете *Elvi* я жестами попросил подавальщицу налить мне тарелку гаспаччо, но не класть сметаны. В очереди за мной стоял человек с потешными бакенбардами, напоминавшими то ли актера Спартакса Мишулина, то ли Гарри Глиттера тех времен, когда он был молодым глэмрокерным педофилом, а не просто старым английским педофилом. У человека с бакенбардами к поясу штанов была привязана запасная пара ботинок. Его это обстоятельство не смущало, он вообще был занят, пытаясь понять, что написано в меню на черной грифельной доске, висящей довольно высоко в левом углу столовской раздатки. На самом деле я тоже не понимал, что там написано, но догадывался – я обедал в этом заведении не раз, и этим летом, и прошлым. В прошлом году организаторы Летней школы для молодых художников, где я что-то такое рассказывал про современное искусство, выдали лекторам книжечку талонов на питание именно здесь, в этом месте. Тогда я и понял, что столовая при супермаркете *Elvi* – главное место в Кулдиге;

не в смысле исторических красот, архитектурных редкостей или даже *genius loci* старого маленького латвийского города, нет, это главное место в Кулдиге в рассуждении так называемой «жизни». Не буду торопиться прибавлять к слову «жизнь» прилагательные вроде «обычная», «повседневная» или даже «социальная», нет, просто «жизнь людей, которые здесь живут». Ну раз они здесь живут, им нужно покупать продукты; а если неохота или некогда стряпать дома, то надо же где-то питаться! Соответственно, ходят сюда, в эту столовую. Следует внимательно понаблюдать, кто ходит, в каком количестве, что берут, как себя ведут, не завелись ли тут какие ритуалы в связи с вышеперечисленным – и вот тогда мы будем иметь все основания действительно применять слова типа «обычная» и даже «социальная» в комбинации со словом «жизнь». Обо всем этом я размышлял еще прошлым летом, стоя в очереди в столовой при супермаркете *Elvi*, что на улице *Piltenes* города Кулдига, область Курземе, Латвия. Размышления мои были довольно ленивыми. Я просто отмечал, что вот надо же – это не просто столовка, где обедают рабочие, водители и полицейские, нет, ее посещают и семьями, полными и неполными, заглядывают выпить пива или съесть десерт разного рода компании, от мужланских до тинейджерских, девочкиных. Потом я уехал, и мысли эти забылись. Как выяснилось, до следующего лета.

И вот я опять здесь, стою в очереди, глазею на посетителей, подпеваю плейлисту, который сопровождает покупку и потребление еды, слежу за быстрыми экономными движениями работниц заведения, пытаюсь прочесть меню – в общем, то же самое, что делает человек с бакенбардами. Он не местный – и это видно не только из-за сложностей понимания латышского, отчего он жестами изъясняется с подавальщицей. Человек с бакенбардами имеет особенную внешность, особые повадки, не говоря о висящей у него на поясе паре ботинок. Тут я замечаю – увы, слишком поздно – что он здесь не один такой чужак. За ним стоит крупная женщина лет сорока, бледное выразительное лицо, пышный цветной сарафан без намека на национальный орнамент, который так любят местные. Цвета простые, но все вместе складывается довольно тонко – хотя совсем не так, как это бывает в Латвии, тут другой какой-то вкус, нет, темперамент, нет, другое представление о соразмерности и сочетании элементов. В Латвии, кстати говоря, такое представление, баланс нужного в визуальном, мне кажется идеальным. Оттого здесь всё (ну хорошо, почти всё!) выглядит одновременно стильным, современным и отчасти традиционным. Есть, конечно, вопрос о том, как понимать «традицию» – не только же она про фолк и крестьян, традиция – это и латвийские 1960–1970-е с их великой фотографией и неповторимым дизайном

радиоприемника ВЭФ. Все вместе – влияние скандинавской экономности, остаточная немецкая гемютность, безукоризненная меланхолия черно-белой советской тоски, окутавшей эти места лет 50 тому назад – сегодня делает жизнь здесь выносимой, в отличие от постсоветской России или Украины, где визуальное пошло вразнос, пестренько расхристалось. Конец постсоветского, как эпохи, как мира, как способа мышления, лучше переживать в странах с таким дизайном, как в Латвии. Он дает надежду, что хотя бы внешне коллективная смерть этой части Европы будет выглядеть пристойно.

Так вот, дама, стоявшая за человеком с бакенбардами, была одета в сарафан, явно не здесь сделанный. Сарафан был... ну, как бы это сказать, веселенький, вот. Миленький. Невзрослый в каком-то смысле. Потом дама заговорила, и это был французский язык. Человек с бакенбардами ей ответил на том же французском, и стало ясно, откуда они все. Я говорю «все», так как за дамой стояло еще несколько человек, примерно такого же странного вида, выразительные лица, причудливые детали одежды, и, главное, жесты. Красноречивые, несколько напыщенные и окончательные, не требующие продолжения. Мол, вот сюжет закончен взмахом руки, переходим к другому сюжету. Заворачивая с полным подносом в зал, я краем глаза заметил, что расплачивались французы талонами, как я в прошлом году. Значит,

они здесь неслучайно. Что-то такое происходит в Кулдиге. Или будет происходить.

Поздним вечером того же дня я ворочался в постели в комнате на втором этаже деревянного дома по Глиняной улице, пытаюсь уснуть. Уснуть было невозможно – в открытое окно вторгался чудовищный грохот поп-музыки, перемешанный с менее узнаваемым шумом из другого источника, более утонченным, странно бередящим то, что романтики называют «душой». В конце концов потной бессоннице в кровати я предпочел обдуваемую ночным ветерком бессонницу на улице – и отправился прогуляться. В Кулдиге отмечали первый день четырехдневного Дня города – по улицам бродили группки людей, причем направлений движения было два – направо от южного конца Глиняной улицы и налево. Направо было отчетливо слышно что-то из начала 1990-х, налево – то самое позаковыристее и потише. Я пошел туда. В парке расположилась большая эстрада, перед которой на длинных скамейках сидели люди, укутанные в – как мне показалось в темноте, одинаковые красные – пластиковые плащики. Шел дождь. Тут и там торчали зонты. По бокам от скамеек располагались ларьки, источавшие жирную вонь сжигаемого мяса. На сцене играл усеченный симфонический оркестр, перед ним, сменяя друг друга, мужчины в строгих вечерних костюмах и женщины

в торжественных платьях с обстоятельным декольте исполняли оперные арии. Арии пелись в микрофоны, которые срезали весь средний спектр голосов, оставляя только верхи и низы. Срединное звуковое зияние прочно оккупировали посторонние шумы – порывы ветра, равномерный стук дождя о плащики и зонты, постукивание шампуров о борта барбекюшниц, разговоры у ларьков и, конечно же, отзвуки музтрэша, что исполняли на другой сцене, на главной площади, у бывшего райсовета, где к празднику поставили не только сцену, но и раскинул свои шатры заезжий чешский цирк. Пробегая вдоль сцены под недовольными взорами опероманов и музыкантов, я столкнулся со своим приятелем Улдисом П. Мы отошли в сторонку. Я выразил сомнение в способности чехов развлекать публику, да и вообще кого-то развлекать, даже себя. Улдис, сославшись на недостаточное знакомство с жителями Богемии и Моравии, уклонился от суждения. Наш разговор перекинулся на оперу.

Все вместе напоминало декадентский фильм о Европе, один из тех, которые и формируют наше представление об этой – самой лучшей в мире, конечно, – части света. Все, что нужно для этого: Высокое Искусство, Народность, Скверная Погода. Сочетание вышеперечисленного и создавало мощный эффект, схожий с тем, что вызывается неоднократным просмотром

некоторых сцен из фильмов Фассбиндера. Я был счастлив. Ради такого стоило не поспать лишние два часа. Меж тем арии, итальянские арии, одна слаще и чувственнее другой, лились со сцены. Я спросил Улдиса, откуда в Кулдиге и в земле Курземе столько любителей оперы. Он сдержанно ответил, мол, наверное, многие, на самом деле, ждут фейерверка. В тот самый момент фейерверк начался. Он был прекрасен.

Но самое удивительное началось позже, когда последние корпускулы шутих и потешных ракет упали на землю (а человек рядом со мной, у левого края сцены, все уворачивался, будто серая пыль обгоревшего праздника могла причинить ему вред). Рядом с нами, во внезапно наступившей тишине, такой глубокой, что действительно можно было услышать, как мелко стучит дождик по натянутому полиэтилену, появились три гигантские фигуры. Фигуры были высотой в небольшой двухэтажный дом; они представляли собой большой конический купол, увенчанный бюстом. Бюст был живой, он двигался. Присмотревшись, я понял, что это огромные оперные дивы, что купол – их гигантские юбки, а над ними по пояс возвышаются певицы. Еще присмотревшись, я увидел, что внутри купола спрятаны люди, которые и передвигают всю фигуру на колесиках. Певицы были одеты а-ля Мария Антуанетта, конец «старого режима», до внедрения гильотины в жизнь и

смерть. Снизу можно было любоваться на их набеленные, напудренные на манер маркизы Помпадур лица. Клянусь, я углядел даже рококошные мушки. Пышные прически они прятали под парасольками, несмотря на ночь. И да, это был уже не Фассбиндер, а Феллини, «Казанова», разбавленный знаменитой сценой показа ватиканских мод из «Рима». В этот момент тишина рухнула – на нее обрушилась барабанная дробь. Фигуры замерли. Из-за юбок выдвинулся отряд барабанщиков в попугайских зелено-желтых мундирах и треуголках эпохи между битвой при Фонтенуа и капитуляцией Йорктауна. Строй барабанщиков замыкал литаврщик, он был самый потешный, с походкой, заимствованной у Пьера Ришара. Когда литаврщик проходил мимо, высоко задирая колени, я заглянул ему в лицо. Тот самый человек с бакенбардами из столовки. Вдруг маркизы запели, и вся процессия двинулась вдоль сцены. Не последовать за ними было невозможно.

Они дважды прошествовали вокруг сцены и зрителей, распевая и барабаня, а затем, сопровождаемые небольшой толпой вмиг очарованных поклонников, двинулись в сторону другой сцены, там, где пили и танцевали под старый поп. Я не мог оторвать взгляда от поющих маркиз, от клоунских барабанщиков в треуголках, музыка их была разом изломанной и гармоничной, вульгарной и изысканной, она накинула на толпу

батистовый платочек какого-то удивительно рационального, хладнокровного, чисто галльского веселия, жестокого, простодушного – собственно, такого, каким и должен быть европейский карнавал. Идеальный Эрос – капризный, нарциссистичный, довольствующийся собой, не имеющий иного объекта желания. Когда шествие миновало дискотеку, звучавшие там аэросмиты и мадонны вдруг показались детсадовскими воспитанниками, которые шалят под присмотром усталой, все понимающей воспитательницы. Затем мы свернули на *Piltenes*, улицу, что отделяет эту часть старой Кулдиги от построек советских шестидесятых. Толпа редела, но самые очарованные шли за маркизами и барабанщиками, как крысы за дудочником, и я с ними. Жители серокирпичных брежневок высыпали на балконы, кричали, размахивали бутылками. Шествие несколько раз останавливалось у домов, чтобы разразиться особенно мощной дробью или взять ноту повыше. Маркизы благосклонно махали руками, иногда даже отвечая руладами на крики толпы внизу. Не выпив ни грамма, я был пьян, как никогда в жизни. Все были пьяны – и те, кто вливал в себя алкоголь, и те, кто не делал этого. Особенно веселые принялись угощать барабанщиков, те не отказывались, конечно, а одного из них даже втащили на балкон первого этажа, лишив предварительно барабана, треуголки и мундира. Пока

его накачивали в недрах квартиры, обмундирование, чтобы не пропадало зря, решили вручить одному из зрителей. Бедный Улдис, как он отважно пытался попасть в такт...

Карнавал закончился у супермаркета *Elvi*, в столовой которого утром того же дня я встретил барабанщиков и маркиз. Хотя День города только стартовал – и впереди были еще толпы людей на улицах, всякие увеселения на открытом воздухе и оглушительный пыточный шум, издаваемый со сцен, – праздник для меня начался и кончился той ночью. Уже потом я ходил по битком набитой Кулдиге и думал о жизни, то есть нет, о том, как устроена жизнь, та самая, что можно назвать «обычной», с поправкой на «социальную». Опять и опять я вспоминал столовую в *Elvi*. Да, главная точка местной жизни там.

Супермаркет сети *Elvi* на улице *Piltenes* спроектирован бюро Дианы Залане и построен в 2003 году. Здание сложено из старого красного кирпича, который, как рассказал мне мой новый знакомый Артис, привозили в те годы из Лиепаи – там разобрали дореволюционные российские казармы и пакгаузы. В мире не так много супермаркетов, построенных из кирпича столетней давности – новых супермаркетов, а не тех, что разместили в уже имеющихся зданиях. Этот кирпич здесь, в Кулдиге, можно обнаружить почти везде – из него,

к примеру, сложены колонны амбара, что стоит в глубине сада того дома на Глиняной улице, где я сейчас выстукиваю эти слова на ноутбуке. Между колоннами тянутся деревянные стены, их три – одной, продольной, нет, так что можно увидеть, что внутри. Амбар разделен на две части. В одной складированы велосипеды, ненужная мебель, кое-какой другой хлам. Вторая часть представляет собой гараж – два старых «Фиата», находящихся на разных стадиях тщательной реставрации. Сначала мне показалось, что это «Жигули», «копейки», но знатоки указали на мою дилетантскую ошибку. «Фиат». Вот-вот из него выглянет Марчелло Мастроянни с прилипшей к нижней губе сигаретой, и мы все окажемся то ли на шоссе в «8½», то ли где-то в новостройках «Дольче виты». То есть совсем не здесь. Но все это мечты, мы здесь, это Кулдига, Латвия, Прибалтика, Восточная – с закосом под Северную – Европа. Что же до кирпичей, то с ними история забавная. Их производили в этих краях в конце XIX века для нужд массовой застройки индустриальной эпохи. Фабрики. Гимназии и училища. Казармы и пакгаузы. Церкви. Кстати, в Кулдиге, за углом от моей Глиняной, стоит краснокирпичная православная церковь тысяча восемьсот восемьдесят какого-то года, а рядом несколько строений из того же материала – только вот часть из них ровесники церкви, а другая – ровесники эпохи второй латвийской

независимости. Прошло сто с лишним лет, а кирпич этот всё выкладывают в стены; только вот дома, состоящие из него, имеют иное предназначение. Это частные постройки. Или – как в случае *Elvi* на улице *Piltenes* – это храмы, где, впрочем, молятся не богу, а потреблению. В Средние века разбирали руины языческой античности и строили из их материала христианские церкви и дворцы светских правителей; сейчас в Европе разбирают руины индустриальной эпохи, руины героического периода модерности и строят из старого кирпича торговые центры и сараи, где, в свою очередь, реставрируют машины героического периода европейского народного автомобилестроения. Разница в том, что средневековый человек был совершенно равнодушен к строительному материалу *second hand*, его не интересовали назначение и судьба домов, ставших руинами. Мы же нет, мы молимся на каждый обломок, каждую деталь высокой модерности, считая ее «аутентичной», «исторической», придающей несомненную аутентичность и историчность любой банальности, что мы строим, от амбара до шопинг-молла. В каком-то смысле нынешняя Европа не доверяет себе как чему-то такому, что может иметь самостоятельную ценность, она не уверена в собственных основаниях своей современности. Оттого она пытается легитимизировать себя с помощью собственного – еще раз, напомню, героического – прошлого.

Это прошлое – если отбросить все сказки про «средневековье» и проч. – располагается в XIX веке, во времени, когда в Европе придумали свое прошлое и свое будущее. В придуманном тогда будущем мы пока и живем.

Да, но супермаркет *Elvi* на улице *Piltenes*. Это небольшое двухэтажное здание с почти квадратным фасадом, к которому по бокам примыкают два одноэтажных крыла. Фасад располагается лицом к проезжей части улицы. Если обойти здание сбоку, то можно обнаружить – оба крыла уходят вглубь на несколько десятков метров, так что сверху супермаркет должен представлять собой букву «П». Фасад главного двухэтажного здания и часть крыльев, что смотрит на улицу, состоит из темно-бордовых панелей, огромных окон с того же цвета рамами и колонн (или надо назвать их «опорами»? увы, я не владею архитектурной терминологией), которые сложены из старого кирпича. Комбинация цвета панелей и розоватого оттенка кирпича создает ощущение благородной сдержанности, надежности, даже изящества. Из того же кирпича состоят стены длинной части крыльев, там окна поменьше и круглые, как иллюминаторы, зато есть ритмически расположенные большие глухие прямоугольные панели, опять-таки темно-бордовые. Главные ворота – с торца, сзади: туда привозят товары. Супермаркет окружен автомобильной стоянкой.

Теперь вход. Собственно, их два. Главный приходится на срезанный угол левого крыла; он украшен зеленой вывеской супермаркета с желтыми буквами лого, над *i* точка красная. Комбинация цветов не очень удачная, будто из позднесоветского мультфильма, что, в сущности, не противоречит нынешним представлениям о шопинге (и потреблении вообще) как о чем-то веселом, праздничном и даже простодушно-придурковатом. Рядом с вывеской – часы работы на отдельной табличке (белое на черном) и неперенные пестрые объявления о снижении цен и проч. На стеклянные витрины входа наклеены изображения фруктов и овощей – кажется, единственное прискорбное исключение из безукоризненной палитры латвийского дизайна. Эти штуки просто безвкусны – и совершенно одинаковы везде в Восточной Европе, от Писека до Познани. Что же, и на старуху бывает проруха.

Надо сказать, что крылья супермаркета *Elvi* слегка разные – я имею в виду ту их часть, что смотрит на улицу *Piltenes*. Правое чуть подлиннее и снабжено верандой под большими зонтами. Именно справа располагается столовая (ее официально называют «бистро»), и именно здесь есть еще один вход – он в столовую, но пройдя через нее, можно попасть и в торговый зал. Стеклопанная дверь, все в такой же раме темно-бордового цвета, располагается сбоку двухэтажной части супермаркета,

открыв ее, ты оказываешься в странном месте, куда сходятся и помещение, где едят, и помещение, где еду раскладывают по тарелкам. Итак, мы зашли. Справа от нас – раздатка, собственно, ее конец, касса, за которой обычно сидит девушка с крашеными в иссиня-черный цвет волосами. Иногда у нее заедает аппарат, и тогда она подзывает коллегу постарше – блондинку лет 35, которая кажется главной в этой смене. Собственно, других смен за два лета я здесь почти никогда не видел, так что чаще всего мне даже не приходится объяснять жестами, что в гаспаччо не надо класть сметану.

Да, раздатка тянется вглубь направо от входа, а прямо перед нами один из двух залов столовой. Или можно счесть его и второе помещение двумя частями одного зала – но тогда стоит согласиться с тем, что последний имеет форму буквы «Г». Если так, то мы стоим у основания этой буквы, идем вперед по проходу, слева – несколько столов на четыре персоны, справа специальная этажерка на колесиках для использованных подносов и грязной посуды, затем столик на двоих – и вот мы уже достигли конца вертикальной части «Г» и готовы повернуть направо. Там еще столики на двоих и большой стол, человек на восемь-десять, который иногда резервируют для больших компаний. Именно там сидели французы – я проходил мимо них, поев. Это очень удобно – сначала насытиться, а потом уже идти

покупать еду для дома. Асы продуктового шопинга советуют поступать именно так – голодный желудок рождает завышенные кулинарные aspirations и алчбу, оттого швыряешь в корзину много ненужного. Я прилежно следую советам специалистов. Чуть не забыл – при входе взгляд наталкивается на телеэкран, который висит в дальнем конце длинной палочки в «Г». Он расположен странно. Если вдуматься – практически никто из поглощающих пищу здесь не имеет возможности посматривать в телевизор, кроме людей, которые сидят спиной ко входу за двумя столиками, что рядом у двери. Беззвучное изображение, чаще всего – спорт или новости; что касается звукового ландшафта, то он состоит из песен, которые крутят здесь по радио. Впрочем, о саундтреке обедов в столовой супермаркета *Elvi* на улице *Piltenes* чуть попозже.

Я в восторге от дизайна этой столовой, не знаю почему. Собственно, мне здесь нравится почти все. Возьмем, к примеру, большой стол в перекладине буквы «Г». Он отделен от параллельно идущей ему раздатки стеной из старого кирпича. Вдоль стены – диван, темно-серое сиденье и полосатая (оранжевый/темно-серый) спинка. Такая же гамма у короткой части дивана, что загибается налево под прямым углом, образуя, опять-таки, букву «Г». Другой длинный диван, напротив стены, – светло-зеленый, салатный, он прямой и имеет слегка другую

форму, спинка его не без лихости загибается чуть назад. Между диванами прямоугольный длинный светло-коричневый стол. Цветовая гамма мебели повторяется на четырех больших квадратных фотоплакатах, висящих на стене. На них изображены разные блюда: салаты окружают пасту, стейк и прочее, что считается в этом мире легким и полезным, преобладает зеленый, оранжевый, светло-коричневый и белый. Честно говоря, я бы оставил эту стену пустой, безо всякой наглядной агитации за здоровый образ жизни (а комбинация зеленого с оранжевым в нашем мире отвечает именно за него) – тем более что ничего из изображенного там в столовой не подают – но не буду слишком строгим. Над столом висят три люстры с оранжевыми абажурами; они сделаны в виде больших шайб – или, если угодно, очень коротких и очень широких цилиндров. В общем, в перекладине нашей буквы «Г» светло, весело, просторно, безупречно-современно, чему не противоречит использование старого кирпича. Здесь его история как бы аннулирована, стала чистой декорацией, знаком того, что *так хорошо было здесь всегда*. Кошмар истории, от которого безуспешно пытался проснуться Стивен Дедал, здесь не ночевал.

Длинная часть столовского зала сделана несколько проще. Все мягкие стулья – салатные, все столешницы – светло-коричневые, почти желтые. Над столами

парами висят лампы в красно-оранжевых стеклянных абажурах – впрочем, быть может, это пластик. Представьте себе большую ярко-оранжевую каплю или косточку, блестящую, сверкающую безмятежным светом, а потом мысленно разрежьте ее на две половинки, оставив верхнюю – и вы получите представление об этих прекрасных осветительных приборах. Обычно я сижу там, поглощая пищу – всегда примерно одну и ту же – и посматривая в окно. Стекло в этих больших окнах разлиновано сеточкой тростниковых жалюзи, будто рехнувшаяся и ставшая прозрачной школьная тетрадь по математике, сеточка накладывается на вид из окна – там автомобильная стоянка с редкими припаркованными машинами, немногочисленные покупатели спешат за продуктами в супермаркет или идут домой, затем – улица *Piltenes*, на ней столь же редкие пешеходы, потом скромный траффик, потом опять пешеходы и, наконец, линия хрущевек напротив. Ровно на другой стороне улицы от столовки – пятиэтажный дом, построенный из унылого советского светло-серого кирпича (думаю, в каких-нибудь ГОСТах его самонадежно называли «белым») в самом конце 1960-х. Фасад дома поделен на секции перпендикулярными линиями балконов, похожими на каменные скелеты огромной рыбы из постапокалиптического кино; балконы отделаны отвратительным старым советским пластиковым

материалом, названия которого я не могу раскопать в своей памяти. Это были такие волнистые штуки, огромные листы, обычно грязноватого серо-буромалинового цвета, которые использовались для заборов и для закрывания – по пояс жильца, вышедшего посмотреть свою «Астру» – балконов. Вот они и здесь закрывают. Вчера я видел на одном из таких балконов трех девиц, они пили кофе, курили и меланхолично что-то обсуждали. Только уже не «Астру», конечно. Что же? *Caines*? Забавно, что последние производит компания, называющаяся *House of Prince*. Получается, что девицы дымком приманивали принца в свой дом, чтобы он стал его домом. Обычная история, давно известная.

Раздатка здесь самая обычная, она идет меж двух длинных кирпичных стен, в углу сверху висит то самое меню, начертанное мелом на черной грифельной доске, под ним – место заказа и выпекания пиццы. Обычно оно пусто. Затем уже начинаются совсем привычные дела. Внизу стопкой лежат подносы, ты берешь один из них и ставишь на железные рельсы, передвигаешься слева направо. Сначала витрина самообслуживания: замотанные в полиэтилен порции суши, эти неизменные приметы позднепостсоветского времени, этажом ниже местные десерты в старомодных стеклянных вазочках на ножке, под ними – бутылки с колой, пивом, стаканы с соками и кефиром. Дальше перебивка – два

больших чана с горячими супами, после которых – вторая витрина, уже со вторым. Выбор там большой, много всяческого мяса в съедобной оболочке, называется такое «карбонад». Еще какие-то котлеты, гуляш, что ли, иногда плов и – о, счастье – немного овощей и злаков, в смысле жареной и вареной картошки плюс либо рис, либо гречка. Опять перебивка – чаны поменьше с холодными супами. Очень красив местный свекольник на кефире, его смесь фиолетового и белого – из живописи начала прошлого века, после импрессионистов и даже после пост. В этом абзаце многовато слов «пост-», «после», «поздне-». Значит, действительно что-то кончается в этом мире.

Но мы, веганы, выбираем «гаспаччо» (без сметаны!) и двигаемся дальше. Там раскладывают салаты. Они делятся на две категории – со сметаной/майонезом и с растительным маслом. Любопытно, что в остальном состав салатов примерно тот же – зеленые листья, свекла, капуста всех видов и так далее. Вне категорий нарезанные крупными кусками малосольные огурцы. Завершает пищевой конвейер касса, справа от которой находится аппарат для кофе и горячей воды – и горка соответствующих чашек. Добавлю две детали. На стене, за спинами подавальщиц – полочка, на ней алкогольные напитки (пиво в витрине-холодильнике не в счет). Вино в маленьких бутылочках. Водка «Мерная». Местный

бренди, «Бонапарте», услада, как уверяет Улдис П., местных алкоголичек с покусениями на культуру. И вечный рижский бальзам. Вторая деталь. Подавальщицы и кассирша одеты в черные фартучки с оранжевой окантовкой и отворотами воротничков. Очень элегантно. Безукоризненность банальности.

Чуть было не забыл про веранду. Там четыре длинных деревянных стола, снабженных двумя рядами той же длины деревянных скамеек. Над ними – большие верандные красные зонтики с эмблемой пива *Aldaris*. Сидеть там не очень удобно, скамейки стоят слишком близко к столам, зонтичные столбы ходят туда-сюда от ветра, того гляди упадут на тебя, в жару там жарко, в ветреную погоду – ветрено, шумно и пахнет бензином. Обычно там располагаются семьи, выбравшиеся поесть вечером в будний день или в выходной – мать и отец лет тридцати пяти – сорока, при них примерно десятилетний ребенок. Родители пихают в ребенка пищу, ребенок обычно сопротивляется, незанятый кормлением родитель рассеянно рассматривает машины на автостоянке. Впрочем, иногда приходит стайка мужичков, они берут по паре пива и радуются жизни на ветерке. Жаль, курить нельзя. В прошлом году один из столов оккупировал известный латвийский культурный герой – поэт, пьяница, вдохновенный говорун, умница. Он тоже что-то такое рассказывал об искусстве слушателям

Летней школы, и ему тоже давали талоны на питание в столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*. Так как ежедневная сумма на каждом листочке была фиксированная и тратить ее можно было на все, что подавали в этом заведении, – а помимо вышеперечисленного там тогда разливали пиво из крана, – то культурный герой расходовал лимит на медленные жидкие завтраки и столь же неторопливые жидкие ланчи, состоявшие из одного-двух пив и бокальчика бренди. То же самое делали и сопровождавшие его более юные компаньоны. Так что каждый раз, заходя в столовую, чтобы съесть гаспаччо и картошку с салатом (а что еще остается вегану в таких местах, как не исповедовать стабильность?), я приветствовал мирно потягивающую напитки компанию, после чего открывал дверь, чувствуя, как по спине медленно, спотыкаясь, ползут сочувственные взгляды.

Жизнь состоит не только из еды и устройства места, где эту еду можно раздобыть. Впрочем, на самом деле никто не знает, что это такое, «жизнь». В фильме Улдиса Тиронса об Александре Пятигорском (он отлично называется: «Философ сбежал» – неявная отсылка к ранней картине Хичкока «*The Lady Vanishes*»; надо будет как-нибудь спросить Улдиса, имел ли он ее в виду) есть вроде бы проходной эпизод, затерявшийся в экстравагантностях, которыми буквально набита картина. Пятигорский

в сопровождении съёмочной группы приходит к своему старому приятелю Лешеку Колаковскому. Они сидят в саду оксфордского дома Колаковского и обмениваются репликами, произносимыми на неподражаемых – и разных – акцентах английского языка. Колаковский уверяет, что они с Пятигорским давно знают друг друга, но не как философы, а как друзья: веее ар джаст френдз. Произнося это, Колаковский оборачивается от камеры, чтобы проследить, как за его спиной чёрный кот неторопливо смотрит вглубь – чисто английского – сарая, набитого всяческой пластиковой чепухой. Через несколько секунд философ поворачивается назад, чтобы в лицо встретить следующий вопрос киношников (кажется, я слышу голос Арниса Ритупса, а не Улдиса Тиронса, в любом случае еще один восточноевропейский акцент английского): «Значит, вы не знаете Пятигорского как философа?» – «Нэ», – на общеславянском отвечает Колаковский. «*But who is he?*» – не отстаёт назойливый Арнис. «*Who is he? Sasha Piatigorsky! Who else!*» – восклицает поляк, и я в этот момент (а «Сбежавшего философа» я смотрел, думаю, раз сто) всегда впадаю в умиление от того, как Колаковский произносит слово *else* – мягко, грустно, с интонацией героев фильма «Барышни из Вилько»: «эльс». Арнис продолжает настаивать, мол, это просто имя такое, «Саша Пятигорский», но кто же он? «*Who is he?*» – машинально повторяет

Колаковский и мгновенно переходит на русский: – Вот вопрос!» Это недоумение по поводу онтологической сущности Пятигорского на самом деле является следствием более широкого недоумения – по поводу «жизни» как таковой. За пару минут до этого эпизода можно увидеть кадры, сделанные перед сценой в саду – съемка идет в доме польского философа, Колаковский встречает Пятигорского, жмет ему руку и на русском говорит: «Они сказали мне по телефону, что готовят фильм о тебе». – «Ну да, ну да, – отвечает Пятигорский, – хотят говорить с моими старыми друзьями». – «О тебе?» – недоверчиво спрашивает поляк. «Обо мне и о жизни», – пытается несколько скрасить неловкость Пятигорский, расхаживая, как обычно, взад и вперед с незажженной сигаретой в одной руке и с распечатанной пачкой *Silk Cut* в другой. «О жизни?» – еще более недоумевает Колаковский. «Ну да, это же разумеется!» – энергически мостит путь отступления Пятигорский. Дуэль вступает в решающую стадию: Колаковский тихо, почти исподтишка, спрашивает: «А что такое жизнь»? Но не на того напал: Пятигорский уходит вбок, жестикулируя и восклицая: «Ну вот с этого можно было бы и начать!» Колаковский невесело смеется. Философ Пятигорский опять сбежал. Меж тем, жизнь обоих собеседников подходила к концу – оба умерли в 2009-м, через несколько лет после съемки. Но в этой части нашего

текста мы про жизнь, а не про смерть. Так что продолжим: конечно, дальше в фильме нет ни слова о том, что же такое «жизнь» в понимании философа Лешека Колаковского. Там есть много интересного о том, что такое есть «мышление» в отношении «жизни» – как это представляет философ Пятигорский. Но именно о мышлении и о его отношении к. То, к чему это отношение происходит, остается необсужденным.

Так вот, можем ли мы дать определение «жизни», если только не пользоваться спасательным кругом, который швыряют нам с берегов Инда и Ганга, кругом, на котором написано лишь одно слово: «сансара»? Конечно, есть еще всякая хайдеггеровщина, но черт ее разберет, написано вязко, бормочется невнятно, с интонацией опытной старой знахарки, заговаривающей больной зуб. В данном случае больной зуб и есть жизнь. А болезнь его – смерть. Впрочем, есть там одна формула, «существование предшествует сущности», которую старый велеречивый нацист в шапочке проносит хором с молодым велеречивым коммунистом Сартром. Станным образом эта формула на что-то такое намекает нам по поводу столовой в супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*. Не прямо, конечно. По касательной, побочным эффектом.

Я не философ и обсуждать онтологический статус «существования», предшествующего не столь

онтологичной «сущности», которая и одаривает человека свободой (выбора), не буду. Об этом написаны несколько тысяч объемистых библиотек. Но вот если попробовать окунуть эту мысль в более мне близкий контекст – социальный, культурный, шире – исторический, то получается довольно любопытно. Философы никогда не простят мне этого, но попробуем представить, что «существование» в нашем случае означает социальную ткань, полотно общества, пронизанное мириадами нитей, находящихся в определенном порядке, нитей, которые это полотно и образуют. Метафора не очень удачная, надо сказать, ведь общество не бывает плоским, как ткань, но другой метафоры у меня под рукой просто нет. «Существование» в данном случае есть предшествующее факту «сущности» – то есть жизни отдельного человека с его свободой и проч. – поле, придающее человеку общий смысл, с которым он потом как бы и «работает». Ты рождаешься уже существом социальным, ты окутан мириадами бесчисленных нитей, каждое твое движение сковано ими. С некоторыми неудобствами, вызванными этим фактом, ты справляешься, с некоторыми примиряешься, в отношении других бунтуешь. Но это не темница, нет, ты не муха в паутине паука, ты – комбинация мухи и паука. Паутина, как идея, уже заложена в твоём сознании, так что появившись на паучий свет, ты воспроизводишь

ее – но узор твой всегда немного отличается от других. И если ты кого-то ловишь в эти сети «существования», так это муху твоей же собственной «сущности», которую ты любовно обматываешь коконом и тихонько посасываешь ее кровь. В данной – несколько экзотической, должен признать – картине «жизнь» и есть то самое «существование». «Жизнь» предшествует тебе.

Ну вот и получается, что «жизнь», сконцентрированная в столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*, существует как бы отдельно от каждого конкретного посетителя этого заведения, сама по себе, но при этом каждый конкретный посетитель оказывается частью этой жизни, с самого начала являясь ее элементом. Тут можно было бы оставить хайдеггеровские тропинки, не допить сартровскую чашку кофе и впасть в совсем уже разнузданный буддизм, утверждая, что все есть отдельные дхармы – жизнь, посетители столовой, супермаркет *Elvi*, мысль об этой столовой, мысль о нашем мышлении по поводу всего вышеперечисленного и так далее. И что все эти дхармы совершенно между собой не связаны и между собой равны, их бесконечное количество, и в некоторую последовательность они выстраиваются лишь в нашем сознании. Звучит страшновато и нигилистически, но тут уж ничего не поделаешь – буддизм, он об этом. Собственно, и те в Европе, на кого буддизм сильно повлиял, Шопенгауэр, Толстой и так далее – они

же и есть самые радикальные нигилисты в этой культуре. Если нам не страшно читать «Мир как волю и представление» или «Войну и мир», то уж представить себе столовую при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes* в виде хаотичной комбинации бесконечного количества дхарм – вовсе несложно. Остается только понять, как с этим всем справляется наше сознание.

А сознание наблюдает. И оно наблюдает тех, кто пришел в столовую. Попробую набросать в общих чертах описание здешней публики.

Я не устаю поражаться разнообразию социальных, гендерных, возрастных групп, представленных в этом помещении с розово-красными кирпичными стенами. В обычные столовки ходят рабочие и офисные люди, оттого там всегда людно с 7 до 10 утра и потом с полудня до часов двух. В остальное время пусто. Столовые не посещают семьями, здесь не устраивают деловых и дружеских встреч, здесь – за редким исключением – не выпивают. Столовые существуют, чтобы быстро и дешево насытиться и дальше идти по своим делам. Все это не относится к нашему случаю. Здесь совсем по-другому – именно поэтому мне кажется, что сама атмосфера этого заведения есть не просто воздух, а объемное пространство тончайшей социальной ткани, того самого «существования», предшествующего понятно чему. В конце концов, это не воздух и это не

столовая, это «жизнь», данная нам в отдельно взятом месте/времени.

Сложно найти возраст, не представленный в столовой при *Elvi*. Родители ведут сюда детей дошкольного и школьного возраста. Приносят грудных младенцев – если не вкусить мясного карбонада, то хотя бы втянуть крохотными ноздрями запах столь популярного в Латвии блюда. Для тех, кому около года, стоит специальный стульчик, точнее – трончик, у большого стола, что в перекладине буквы «Г». Мамы и папы кормят сыновей и дочерей. Бабушки и дедушки потчуют внуков и внучат жареной картошкой с кетчупом и непременно десертом со взбитыми сливками. Подружки постбальзаковского возраста также налегают на десерты. Однажды я видел, как за стол прошествовали три поколения одной и той же семьи – бабушка, дочка и трое внуков лет по 35. Я подумал, почему внуки не привели сюда и своих детей тоже, но потом понял, что это был бы перебор – просто не хватит места на всех. Конечно же, никто не отменял ни рабочих, ни полицейских, ни клерков, ни продавщиц *Elvi*, ни цветочницу, предлагающую букеты в закуточке внутри у входа в супермаркет, ни туристов, приехавших на День города. Как мы знаем, здесь также можно встретить группу цирковых барабанщиков и оперных комикесс из Франции, латвийского поэта, английского архитектурного критика, русскую

урбанистку и вашего покорного слугу. Не удивлюсь, натолкнувшись в этой столовой на премьер-министра маленькой северной страны или на победителя шахматного первенства Абхазии. В конце концов, я видел здесь даже хипстера, местного хипстера. Ему лет 16, виски его тщательно выстрижены, челочка тщательно лежит небрежной линией чуть ниже лба, коленки узчайших черных джинсов тщательно разодраны, балахонообразная белая майка тщательно выглажена. Кто ее гладил – об этом можно было не гадать; хипстера в столовку сопровождали мама и старшая сестра. Они ничем не отличались от прочих среднестатистических посетителей заведения, и казалось бы, наш юный герой должен несколько смущаться по поводу данного факта. Но нет. Кулдигский хипстер сидел за столом на четыре персоны в длинной части зала, в одной руке смартфон, другой он поигрывал ремешком хипстерского фотоаппарата, висевшего у него на шее, потом пришли мама с сестрой, принесли второе и десерт. Они поели, поговорили по семейному, мирно и нежно, после чего убрали со стола посуду и ушли.

Меня несколько смущает семейность этой разновидности жизни. Почему сюда ходят домохозяйки и образцовые жены, место которых – как гласит любой глупый традиционализм, включая латвийский – у плиты? Отчего кулдигская женщина сбежала от готовки? Феминизм ли

проник в ткань местного существования? Или тут что-то неведомое мне?

Есть, конечно, разновидности местных существований, где дома почти не готовят, например, в Британии. Индустрия *take away* и общая малокровная скука островной жизни убили у женщин из низших и даже отчасти средних социальных слоев всякое желание стряпать. Готовят те, кто считает, что это *cool*. А это совсем другие люди – они отличают *Merlot* от *Cabernet Sauvignon* и даже знают, что на самом деле лазанью нельзя подавать с картошкой фри. Остальные по большей части довольствуются снедью на вынос, от вполне приличной, индийской, или китайской, или турецкой, до уже совсем печальной мерзости, изготовляемой в заведениях, на вывесках которых нарисованы развеселые курицы, отставные полковники американской армии или лаконичная заветная буква *M*. Лет десять тому заводной поп-повар Джейми Оливер устроил поход против плохой еды в Британии, что значило практически невозможное – научить готовить обитателей муниципального жилья. Бедный Джейми не знал, во что он ввязался – в нескольких домах ему пришлось объяснять хозяйкам, как определить, что вода в кастрюле действительно закипает. В большинстве квартир, которые он посетил, кухонная плита не использовалась ни разу.

Но то *Broken Britain*, печальная страна принцев и нищих, *fish & chips, gin & tonic*. Латвия дело другое – здесь социальный упадок не столь удручающ, семейная традиция кажется несокрушимой, а что такое семейный обед, как не столп и утверждение этой традиции? К тому же кухня здесь, в отличие от английской, человеческая – так что готовить еду приятно, ибо испытываешь теплую симпатию к результату процесса. А разве можно испытывать что-либо, кроме высокомерного удивления, в отношении йоркширского пудинга (в лучшем случае) или (в худшем случае, то есть обычном) пересушенного куска мяса, который поливают мутным коричневым соусом, выкладывая его на блюдо рядом с вареными картошкой, горохом, морковкой, безо всяких признаков оливкового масла или других способов придать всей этой снеди хотя бы намек на вкус? Сомерсет Моэм говаривал, что если ты хочешь питаться относительно хорошо в Англии, надо есть завтрак (*English breakfast*) три раза в день. И он был прав – именно «был», в его времена, до того как эмигранты сделали жизнь островитян сносной с помощью пасты, карри, кун-пао и фалафеля с хумусом. Теперь все это можно купить в этнических забегаловках и кулинариях, так что же тогда дома заморачиваться? Кажется, последними попытками спасти репутацию английской кухни было известное эссе Джорджа Оруэлла и

книга Элизабет Дэвид об «английском хлебе». Но первое написано в полуголодные послевоенные годы, когда даже фиш энд чипс казался роскошью. А вторая сочинена человеком, который совершил в Британии кулинарную революцию, научив местных, в частности, тому, что оливковое масло, которое еще в 1950-е продавали в аптеках как средство против ожогов и воспаления ушей, можно действительно потреблять перорально. Как нередко бывает, совершив революцию, революционерка Дэвид стала декаденткой – полюбив то, что нормальный человек любить не может. Да-да, английский хлеб. Чистое эстетство, вроде любви сноба к хриплому певцу Крису Ри.

В общем, в Латвии наверняка готовят дома – но при этом столовую при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes* посещают для вкушения в том числе и семейных обедов. Такое вот здесь местное существование, которое – при всей глобальности самой идеи сияющего чистотой и яркими красками супермаркета – в данном своем проявлении является чисто локальным. Можно, конечно, объяснить и по-другому, причем объяснить как романтически, так и цинически. Если романтически, то объяснение будет включать в себя следующее предположение: в нашей столовой готовят настолько хорошо, что дублировать это занятие дома, да еще и с неизвестным результатом, не стоит. Проверить не

могу, ибо гастрономический чужак, но одна вещь говорит, вроде бы, в подтверждение романтической теории – многие берут еду отсюда домой. То есть тут опять же *take away*, как в Британии, но размах значительно скромнее, конечно. Выглядит похоже, да, но есть важнейшее отличие. Там, в Лондоне, или Портсмуте, или Йорке, берут домой то, что сами не смогут приготовить. Здесь – то, что могли бы приготовить, но... Что же но? Думаю, ответив на этот вопрос, мы бы поняли про жизнь все и окончательно.

Что же до цинического объяснения, то оно простое – в Кулдиге нет «Макдональдса», KFC и проч. Однако – как это обычно и происходит с цинизмом – кажущаяся элегантною простота аргумента оказывается претенциозным способом замаскировать элементарное незнание фактов. В Кулдиге есть *Hesburger*, скандинавский вариант «Макдональдса» и «Бургеркинга», он стоит рядом с торговым центром и автовокзалом, милости просим. Но люди, которых я видел в столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*, туда не ходят – или почти не ходят. Они прядут/закутываются (в) ткань/паутину местного существования именно здесь, среди стен из розово-красного кирпича XIX века. Как сказал бы Гегель, посети он это место, здесь мы наблюдаем диалектику общего и единичного. Ну а на нашем языке мы назовем это диалектикой локального и глобального, кулдигского

и европейского вообще. И тут есть еще одна важная вещь.

Чего мне не хватает в «существовании», медленно пульсирующем в столовой супермаркета *Elvi* на улице *Piltenes*, так это разнообразия расового и религиозного. Все довольно предсказуемо и монохромно. Но ведь так и должно быть здесь, в Кулдиге, в Латвии, здесь социальная ткань, здесь жизнь такова, как она есть, и с этим надо считаться. В конце концов в подобном заведении, существуй такое где-нибудь в провинции Сычуань, в этом смысле тоже будет... ну, скажем... несколько повторяемо. И именно такого рода «существование» ожидало мое первое появление здесь в прошлом году, оно ожидает каждое мое ежедневное появление здесь в нынешнем году. Эта жизнь, эта сетка, эта паутина впускает меня, смыкается за мной, потом выпускает меня, предшествуя мне и продолжаясь после меня. И я стал ее частью, пустил ниточки, свил здесь свою сеточку. Она и есть та самая «жизнь», которую не стали обсуждать Колаковский с Пятигорским. Правильно сделали – что тут еще скажешь, кроме вышеизложенных банальностей?

И да, жизнь состоит не только из города, здания, дизайна, меню, людей, жизнь еще и про звуки.

Если социальный, гендерный и возрастной состав посетителей столовой при супермаркете *Elvi* на улице

Piltenes делает «жизнь» здесь местной, делает Кулдигу Кулдигой, а не просто еще одним маленьким европейским городком со старыми обшарпанными домами и небольшой, но забавной историей, которая воплощена в курляндском герцоге Якове, купившем зачем-то колонию в Гамбии и захватившем Тобаго, то музыка, ласкающая слух едоков карбонада и десерта со взбитыми сливками, возвращает нас в царство универсального. Плейлист радиостанции, на которую настроены динамики заведения – и самого супермаркета – действительно является произведением искусства, но только современного, концептуального искусства. Увы, мало кто вслушивается в то, что звучит в европейских супермаркетах, что сопровождает мягкое перемещение магазинными тропками, по бокам которых высятся уставленные банками и пакетами полки, перемещение, в идеале, с коляской, последовательно заполняемой по мере продвижения к кассе. А эту музыку стоит послушать. За некоторым исключением, когда то ли администрация супермаркета, то ли диджеи звучащих здесь радиостанций сардонически оттеняют задушевное потребительство песенкой Игги Попа «*Lust For Life*» или намекают на эротический характер шопинга с помощью произведения Брайана Ферри «*Slave to Love*», плейлист всегда примерно один и тот же. Я имею в виду, конечно, англоязычный поп, местные вкрапления как

раз исполняют роль единичного в супермаркетовой саунд-диалектике. Всеобщие песни в основном негромкие, мелодичные, хотя безразличие к тому, что же в них поется, проявляемое администрациями торговых центров, забавно. К примеру, стоит вспомнить, что один из главных шопинговых хитов – песня группы R.E.M. «*Losing My Religion*». Забавно поразмышлять о том, к кому именно обращены ее слова – к кассирше магазина или к банку, урезавшему лимит на кредитной карточке бедного покупателя?

That's me in the corner

That's me in the spotlight

Losing my religion

Trying to keep up with you

And I don't know if I can do it

Oh no, I've said too much

I haven't said enough

Мои собственные многолетние исследования плейлистов супермаркетов в семи европейских странах показали, что, конечно, бывают срывы и отступления от генеральной поп-линии. Сознательные и несознательные, всякие. Но вот в столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes* плейлист явлен нам идеальным и окончательным, эталоном, «золотым метром» жанра.

Ничего безукоризненнее с точки зрения следования общему тренду я не слышал никогда. Я даже специально не стал выяснять название звучащей здесь радиостанции. Контекст определяет здесь социальное значение и культурный смысл. Радио метило в одно, а попало в другое, хотело ненавязчиво развлекать, а сделало абсолютный шедевр. Так Колумб ехал в Индию за какими-то там пряностями, а попал в Америку.

Не буду приводить здесь весь плейлист, дам только то, что услышал за последние недели две. Сначала песни, которые я точно знаю, а потом – приблизительно. Итак:

Black «*Wonderful Life*» (1986)

Ace of Base «*Beautiful Life*» (1995)

Roy Orbison «*Oh, Pretty Woman*» (1964)

U2 «*With or Without You*» (1987)

Joe Cocker «*You Can Leave Your Hat On*» (1986)

Duran Duran «*Ordinary World*» (1993)

4 Non Blondes «*What's Up*» (1992)

Madonna «*Like a Prayer*» (1989)

Queen «*A Kind of Magic*» (1986)

Плюс, как обычно, что-то из Филя Коллинза, этого лысого аудиототема печальных залов провинциальных *Tesco*, а также евродиско работы Дитера Болена, но почему-то не *Modern Talking* (еще одна загадка!) – чуть

ли не совсем уже забытые *Blue System* с песней, где есть слова *part time lover*, но, конечно же, это не одноименная песня Стиви Уандера. Последнего в супермаркетах крутят редко, так что за черную музыку в этом сегменте поп-рынка отвечает Майкл Джексон, посвятивший жизнь отбеливанию кожи. Ну и, конечно, «Листья желтые» на латышском – это уже истинно единичное в муздиалектике столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*.

Анализ вышеприведенного списка дает нам возможность сделать несколько – конечно, чисто гипотетических – выводов историко-культурного и социо-политического свойства. Пять из девяти композиций записаны в 1980-е годы, три – в девяностые (в первой половине – середине десятилетия), одна – в первой половине шестидесятых. Впрочем, последнее обстоятельство не должно смущать нас – песня о красоте в исполнении Роя Орбисона известна жителям Европы, родившимся в течение 52 лет после ее первого исполнения, благодаря одноименному фильму, который вышел на экраны в 1990 году. То же самое можно сказать и о могучем гимне всех стриптиз-клубов «А шляпку можешь не снимать», только здесь год записи песни и выхода картины («Девять с половиной недель») совпадают. Иными словами, перед нами западный мир, начавшийся в 1986-м и завершившийся в 1995-м. Опять-таки,

если подсчитать, сколько лет сегодня тем, кто будучи двадцатилетним с замирающим сердцем смотрел амузные приключения Ким Бейсингер и Микки Рурка, то цифра будет такая – около пятидесяти. «Существование», предшествующее «сущности», расположившееся в залах столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*, имеет прочные основания. Онтологическим, данным по умолчанию здесь является мир последнего советского поколения, тех, кому сегодня от 45 до 55-ти. Они здесь и паутина, и пауки, и мухи; они соткали эту сеть и сами же в ней обитают – не без удовольствия, надо сказать. Думаю, это самый ценный социологический вывод о бывшем советском пространстве, который можно сделать сегодня.

Звуковой ландшафт торговых залов по умолчанию тот, что сложился в годы распада СССР и в первые пять-шесть лет капитализма. Тогдашняя ностальгия по заканчивающемуся и тогдашние же ожидания будущего – в одном поп-флаконе. Отсюда и почти назойливая перекличка в названиях этих песен: «*Wonderful Life*» / «*Beautiful Life*» / «*Ordinary World*» / «*A Kind of Magic*». Жизнь прекрасна, проста, удивительна, в ней есть всегда место волшебству; это жизнь «простых людей», точнее – тех, кто считает себя «простым» в духе расхожей жизненной философии поп-культуры того периода. Любовь «простого человека» тоже проста. Он вожделеет предмет

своего вождения. Он представляет себе, каково ему без этого предмета. Он воображает себе бог знает какие вольности – но только воображает. Домохозяйка влюбляется в донжуана, он обучает ее милым эротическим шалостям, но она точно знает границы допустимого. Миллионер влюбляется в проститутку; любовь оказывается сильнее социальных различий. Все хорошо. Все будет хорошо. В субботу мы съездим в шопинг-молл, затаримся на неделю, пригласим соседей на барбекю, в воскресенье подремлем у телевизора, а в понедельник утром, отвезя детей в школу, направимся на работу. «*Wonderful Life*». Что касается песни очень странной, мгновенно исчезнувшей американской группы *4 Non Blondes*, то ее постоянное нахождение в супермаркетных плейлистах является самой большой загадкой человечества сегодня.

Ну это как бы смесь «единичного» со «всеобщим», это не только про Кулдигу или Латвию, это отчасти про все европейское постсоветское. Но дело в том, что те же самые вещи – пусть и не столь безукоризненно отобранные – я лично слышу почти каждый раз, когда отправляюсь за покупками в супермаркеты Чехии, Германии, Португалии, а в провинции – и Британии. Значит, тут есть и совсем универсальное. И оно не только про тех, кто слушает все это, но и про тех, кто это сочинял, записывал, продюсировал, продавал.

Во всенародных торговых точках Европы сегодня почти не услышишь музыки шестидесятых – за исключением неизбежных «Битлз», пары баллад «Роллинг Стоунз», шлягера про вольную и любвеобильную Калифорнию («Мамас энд Папас»), «*Nights in White Satin*» забытой группы *Moody Blues* и «*Whiter Shade of Pale*» почти столь же канувших в муз-Лету *Procol Harum*. Это вполне объяснимо – поп-продукция того десятилетия делилась на юную рок-музыку и давно сложившуюся, собственно, поп-продукцию. Первая была несовершенна и на сегодняшний обывательский слух звучит смешно и архаично. Что касается «Битлз», то публику просто приучили, что они великие – и, соответственно, что их можно слушать всегда и везде, как Моцарта или «Времена года» Вивальди. Поп-продукция шестидесятых, которая делала вид, что рок-музыки не существует, звучит еще более старомодно, так что ее можно спутать и с пятидесятыми, и даже с сороковыми. Сегодня ее слушают либо прожженные эстеты, либо те, кто в шестидесятые жил в подобном звуковом ландшафте и воспринимал его как естественный. Этим людям сегодня лет семьдесят пять – и не они заказывают музыку в супермаркетах.

То же самое можно сказать и про семидесятые. Да, там появился микс рока и попа, его и можно услышать время от времени в *Tesco* или *Julius Meinl* – Элтон Джон,

Кэт Стивенс, юный Билли Джоэл, «Смоки», что-то еще, типа заунывных баллад «Пинк Флойд». Отдельно расположилась гениальная прото-поп-группа «АББА»; она и отдельна, ибо гениальна. Но это и все. Иногда по ошибке – или глупости – в супермаркете могут сыграть даже «*Perfect Day*» Лу Рида, но тут виной повышенная мелодичность некоторых как бы антипоп-песенок. Однако в остальном – все та же история. Поп отдельно, рок – отдельно. Отдельно Том Джонс или Дасти Спрингфилд, отдельно «Лед Зеппелин» или Патти Смит. Самое смешное, конечно, это вообразить, как в супермаркетах играют произведения Боба Дилана того времени – покупатели не дойдут до кассы, померев от скуки на середине шопинг-забега.

В конце семидесятых ситуация стала меняться, но только восьмидесятые смешали все и вся, сделав возможным совершенно новый жанр – поп-музыку, которая нравилась почти всем без гендерного, расового и социального исключения. До конца семидесятых на сцене не было открытых геев – и не было поп-музыки, написанной геями, для геев, но которую бы слушали остальные тоже. До конца семидесятых единственным чернокожим поп-музыкантом, имевшим солидную белую аудиторию в Европе, был Стиви Уандер. До конца семидесятых электронная музыка была уделом чудаков, преимущественно с континента. Наконец,

до конца семидесятых аудиопродукция почти не сопровождалась визуальным рядом, который можно было бы увидеть на экране. В восьмидесятые все это изменилось раз и навсегда. И если первая половина десятилетия ушла на выработку звучания, визуальных форм и способов формировать рынок, то вторая открыла ту эпоху, которая – худо-бедно – продолжается до сих пор. Собственно, период примерно с 1985-го по 1995-й и стал золотым веком новой поп-музыки, включившей в себя все и вся, ставшей народной и изысканной одновременно, воплотившей диалектику единичного и всеобщего. В конце концов ставшей «жизнью», элементом того самого «существования», которое – как мы уже почти выучили наизусть – предшествует «сущности».

Я дохлебал гаспаччо, собрал на тарелке островок капустного салата и перемешал его с кучкой скучной гречки, подчистил и это, поставил поднос с грязной посудой на этажерку на колесиках, прошептал по перекладине буквы «Г», мимо длинного стола, который был пуст, французы давно уехали, День города, слава Богу, давно закончился, теперь Кулдигу наводнили фотографы, которые сегодня утром снимали голых девушек на водопаде, а я, как дурак, буквально напоролся на них, так как брел с купания по тропинке вдоль Венты, погруженный в мысли о поп-музыке восьмидесятых, мурлыча под нос «*True Faith*», ничего не видя вокруг,

а тут – бах, локальный «Плейбой» *in full swing*, пришлось извиниться и проскользнуть между взводом с объективами наперевес и стайкой их прекрасно различных мишеней, ладно хоть они сюда, в столовую при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes*, не ходят, у ярко освещенного торгового зала я остановился, помедлил. Потом взял немного направо, достал корзинку и прошествовал во фруктово-овощной отдел. Мир не ловил меня, но поймал. Двадцать шестого июля две тысячи шестнадцатого года жизнь в Кулдиге продолжалась.

P.S. Смерть в Кулдиге

Лайма знает самый короткий путь на кладбище. Если не знать его – а я не знал, когда направился туда в первый раз – нужно огибать холм над бывшим рвом бывшего замка Голдингена/Кулдиги, двигаться до конца по улице *Dīķi*, спиной к реке, затем свернуть налево и чуть пройти по улице *Rumbas*, после чего снова налево, на улицу *Annas* – и вновь налево. Таким образом, кладбище *Annas* (то есть Анны) обходится с трех из четырех ее сторон, пока мы не замечаем уступчатую деревянную ограду, выкрашенную коричневым цветом, а в ограде – ворота на черных железных петлях с черными скрепами и ручкой замка. Приоткрываем дверь и проскальзываем внутрь: первым делом видим три широкие каменные ступени вниз и грунтовую дорожку, чуть вправо и вглубь, которая ведет к круглой площадке. Посредине круглой площадки круглая же клумба с зеленым, давно не стриженным газоном, все отделано серым камнем, на входе во внешний круг нечто вроде небольших Геркулесовых столпов, Сцилла и Харибда поминовения мертвых. На Сцилле (если считать, что она слева) выбито «1941», на Харибде (справа) – «1945». Это мемориал советским воинам Великой Отечественной. Ровно напротив входа в мемориал, с другой стороны по диаметру круга стоит каменная серая женщина, к подолу которой прижалась

каменная же девочка, руки девочки раскинуты, она то ли пытается обхватить у себя за спиной ноги матери, то ли даже закрыть мать от врага. Скульптурную группу сделала Лилия Резевска, чьи работы населяют парк по ту от кладбища *Annas* сторону бывшего рва бывшего замка, там, где в XVII веке были бастионы. Это такой умеренный советский модернизм с национальным оттенком, распространенный в СССР в 1960–1970-е годы; Виктор Пивоваров, досконально знающий советские арт-нравы того времени, называет подобный стиль – но только относительно официальной живописи в российской части СССР – «левый МОСХ».

На самом деле скульптура производит сильное впечатление, прежде всего, двумя вещами. Во-первых, здесь изображены не мать с дочерью, оплакивающие павших. Женщина – даже со скидкой на нечувствительность этой разновидности модернизма к возрасту – явно немолода, ей от пятидесяти лет и больше. Она даже сделана намеренно старой, в платочке, с острыми чертами лица, в бесформенном то ли балахоне, то ли вообще шинели, с огромными трудовыми кистями рук. Если второй персонаж скульптурной группы – «девочка», то старшая – не «мать», а «бабушка» (что подтверждается, если внимательно изучить работы Резевской в парке; там есть уменьшенная копия кладбищенской женщины, но в металле, название произведения – «Бабушка»).

Девочка же непропорционально маленького роста, и ей – согласно этому критерию – должно быть лет 10, не больше. Но это не так – у нее лицо страдающей взрослой девушки. Мессидж Резевской понятен – страдание не убивает, оно старит, оно стирает возраст, опрощает сложно устроенную психологию людей, оставляя лишь чистую экспрессию, нехитрый набор условных знаков. Второе обстоятельство еще более удивительное. Не знаю, прочитывается ли замысел скульптора, но если подумать хорошенько, становится ясно – перед нами живые женщины, оплакивающие мертвых мужчин. Еще раз: на всем кладбище *Annas* только двое живых – и они каменные женщины. Все мужчины мертвы – включая 86 советских военных, погибших в этих краях с 1941 по 1945 год, 20 безымянных жертв гитлеровцев (что бы это ни значило в довольно запутанной истории Латвии того времени), а также двух милиционеров, убитых преступниками в относительно недавнее время: один в 1968-м, второй – в 1973-м. Оба последних случая – чистая уголовка, так рассказала Лайма, муж которой некогда работал в местной милиции. Собственно, ее рассказ тоже вписывается в общий мессидж Резевской – мужчины мертвы, женщины свидетельствуют об их смерти.

Второй раз я отправился на кладбище *Annas* вместе с Лаймой, и мы пошли другим, коротким путем. Он тоже начинается на улице *Dīķi*, затем узкая тропинка

в высокой траве, которая сначала ведет нас в бывший ров бывшего замка, а потом по склону наверх, там еще пара десятков метров среди кустов, и вот мы на кладбище *Annas*, но с другой стороны, нежели от официального входа через коричневые ворота. Здесь ближе к другому мемориалу – тем, кто погиб, сражаясь против тех, кого в пятнадцати метрах отсюда поминает Резевска. И погибли они не во время войны, а после нее – на плитах, где есть даты смерти, полный разбой, от 1945-го до 1950-го. «Лесные братья» в Курземе не сдавались долго. По понятным причинам этот мемориал установлен значительно позже – уже после обретения второй независимости Латвии, в девяностые. В отличие от советского, это христианское поминовение, а значит, в качестве поминающего выступает освященная совместной верой общность, не явленная нам в виде слишком человеческих фигур. Резевска – вполне в духе своего времени – тщательно изгоняла идеологию из своего мемориала, у нее *люди поминают людей*. Еще одно проявление позднесоветского гуманизма, который с универсалистских, общечеловеческих позиций пытался противостоять марксизму-ленинизму, разделившему человечество на вечно враждующие классы. Мемориал антисоветским латвийским партизанам посвящен памяти тех, кто пал в борьбе за нацию и за Бога, сражаясь против тех, кто поработил их нацию и

изгнал Бога. Оттого на входе на мемориал стоит гранитный камень, над которым высится простой крест, сваренный из металлических труб. И надписи на отшлифованном граните могильных камней другие. Советские солдаты представлены в соответствии со всеми правилами – имя, фамилия, родился, погиб. Многие курземские подпольщики остались анонимными, и на их могилах выбито *Nezināms*.

Оба мемориала находятся в состоянии мягкого запустения; несмотря на то, что здесь похоронены бывшие смертельные враги, нынешний вид мест их упокоения уравнивает советского и антисоветского бойца. Меланхолия, всегда сопровождающая медленное перемещение событий и людей из поля актуальности в поле забвения, примирила их. Да, если никто не заставляет общество напирать на то, что вот это прошлое важно, а это нет, что в прошлом вот это хорошее, а вот это плохое, если людей оставляют жить, как им живется, и дают возможность иметь такую сущность, которая во многом определена местным существованием, то никакой истории и нет вовсе. Есть бесформенное прошлое, и есть слабеющая близорукая память, которая отчетливо помнит, как в прошлом году городу недодали инвестиций на новый стадион, но уже с трудом разбирает, кто кого убивал в 1919-м или в 1945-м. Многие ужасаются этой инерции; признаюсь, я, время от времени, тоже. Но именно

она делает жизнь жизнью, а не марш-броском между рождением и смертью. С другой стороны, а-историческая инерция предшествует любому историзму, ибо высечение скульптурных групп истории из камня прошлого есть результат свободного выбора – по крайней мере, для истинного европейца. Историзируя, обращая свое сознание на события минувшего, пытаюсь обнаружить в них смысл и логику, выстраивая из по-броуновски движущихся дхарм интеллигибельную структуру, мы проявляем свою сущность. Еще и еще раз: «сущность», невозможную без «существования», то есть «жизни».

Почти любой философ и почти любая большая религия скажут, что смерть не является фактом жизни. Соответственно, она не является предметом этого текста. Оттого я и оказался на кулдигском кладбище *Annas* – я искал здесь знаки жизни, и нашел их предостаточно. Если читать кладбище как книгу, то много интересного можно обнаружить. Например, некоторые сведения об этническом составе населения города в разные десятилетия прошлого столетия. Намеки на среднюю продолжительность жизни. Историю памяти о прошлом – в ее развитии, логике и нынешнем состоянии. Наконец, даже *кое-что* о занятиях местного населения. На кладбище *Annas* я насчитал пять «профессиональных» надгробий; здесь похоронены: (а) учительница географии (на камне выбит школьный глобус), (б) тренер

по шахматам (изображена доска), (в) главный лесник области (Лайма перевела мне надпись: покойный мечтает на мгновение вернуться на землю, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на некогда опекаемые им уголья) и (г) два милиционера (см. выше). Наверняка я что-то упустил.

Между столовой при супермаркете *Elvi* на улице *Piltenes* и кладбищем *Annas* ходьбы от двадцати минут до тридцати пяти, в зависимости от того, какой маршрут избрать. Рано или поздно все мы, кто стоит в очереди за едой, окажемся здесь, в очереди либо за бессмертием, либо за полным исчезновением, в зависимости от взглядов на устройство мира. И это как-то успокаивает: не я один такой, другие тоже прошли/идут тем же маршрутом – и никто особенно не жалуется. Так что все хорошо. Двадцать восьмого июля две тысячи шестнадцатого года, когда я заканчиваю этот текст, жизнь в Кулдиге продолжается, как и повсюду. Что и требовалось доказать – только непонятно, кому и зачем это нужно доказывать.

Содержание

1. Частник из *bloodlands* 5
 2. Жизнь (и смерть) в Кулдиге 55
- P.S. Смерть в Кулдиге 101



No krievu valodas tulkojis Dens Dimiņš
Tulkojuma redaktore Māra Poļakova
Korektors Vents Zvaigzne

Sērijas redaktors Aleksandrs Zapoļs
Dizainers Tom Mrazauskas

© Kirils Kobrins, 2018

© Orbīta, 2018

ISBN 978-9934-8753-2-8

Iespiests «Jelgavas tipogrāfijā»

Izdevējs «Orbīta»

orbitalv